



АРЧИБАЛЬД
КРОНИН

*Звезды
смотрят вниз*

АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Арчибальд Кронин
Звезды смотрят вниз

«Азбука-Аттикус»

1935

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Кронин А. Д.

Звезды смотрят вниз / А. Д. Кронин — «Азбука-Аттикус»,
1935 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-11830-0

Один из лучших романов классика английской литературы! «Звезды смотрят вниз» – это книга о больших социальных проблемах в Англии начала XX века, о тех, кто поддался искушениям, и о тех, кто устоял против них, о тяжелой жизни шахтеров, о борьбе за справедливость, о жадности и жестокости, порождающих смерть и горе. Это роман об истинной любви, о преданности и неверности, о войне, о стремлении следовать собственным идеалам и о лжи ради самовозвышения. Свет и тьма сражаются в каждой строке. А звезды смотрят вниз, где в глубине угольных шахт мерцает истинное Солнце.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-11830-0

© Кронин А. Д., 1935
© Азбука-Аттикус, 1935

Содержание

Часть первая	6
I	6
II	10
III	17
IV	21
V	25
VI	26
VII	30
VIII	35
IX	42
X	46
XI	50
XII	59
XIII	63
XIV	72
XV	78
XVI	84
XVII	95
XVIII	103
Конец ознакомительного фрагмента.	107

Арчибальд Кронин

Звезды смотрят вниз

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство АЗБУКА®

Часть первая

I

Когда Марта проснулась, было еще темно и очень холодно. Ледяной ветер с Северного моря врвался сквозь трещины в стенах, образовавшиеся от постепенного оседания этого старого домика из двух комнат. Вдалеке глухо шумел прибой. Больше ничто не нарушало тишины.

Марта лежала не шевелясь, отодвинувшись подальше от Роберта, который всю ночь кашлял и метался, часто прерывая ее сон. Минуту-другую она размышляла, с суровым терпением встречая наступающий день и стараясь подавить в себе чувство горькой обиды на мужа. Наконец с трудом поднялась с постели.

Каменный пол леденил ее босые ноги. Она торопливо, хотя и через силу, одевалась. В ее движениях сказывалась энергия крепкой женщины, которой не было еще и сорока лет. Тем не менее одевание так утомило ее, что она задыхалась. Марта не была голодна, – с некоторого времени она почему-то перестала ощущать сильный голод, – но ее мучила нестерпимая тошнота. Дотащившись до раковины, она открыла кран. Вода не шла. Трубы замерзли.

Марта словно оторопела на мгновение – стояла, прижав огрубевшую руку к вздутому животу и глядя в окно на медленно занимавшуюся зарю. Внизу ряд за рядом вырисовывались в тумане дома шахтеров; справа чернел город Слискейл, за ним – гавань, где мерцал один-единственный холодный огонек, а дальше – море, еще более холодное. Слева застывший силуэт копра над шахтой «Нептун № 17», напоминавший виселицу, выступал на фоне бледного утреннего неба, царил над городом, гаванью и морем.

Морщина на лбу Марты обозначилась резче. Вот уже три месяца тянется забастовка... Словно спасаясь от мыслей об этой беде, она круто отвернулась от окна и принялась разводить огонь. Нелегкая задача! У нее были только сырые дрова, которые Сэмми вчера выловил из воды у берега, да немного угольной мелочи самого худшего сорта – ее принес Гюи с отвала. Марту Фенвик бесило, что ей, которая, как и подобает жене углекопа, всегда имела запас наилучшего угля, приходится теперь возиться с таким мусором. Но в конце концов ей удалось развести огонь. Она вышла за дверь, одним сердитым ударом разбила лед в кадке, наполнила водой чайник и, воротясь в кухню, поставила его на огонь.

Ждать пришлось долго. Но наконец вода закипела, и Марта, налив себе чашку, примостилась у огня, сжимая ее обеими руками и медленно прихлебывая кипяток. Он ее согрел, по онемевшему телу разлилась живительная теплота. Конечно, напиток чаю было бы еще приятнее – с чаем ничто, ничто не может сравниться, – но и кипяток неплох. Марта чувствовала, что приходит в себя. Пламя, охватив сырые дрова, вспыхнуло ярче и осветило клочок старой газеты, оставшийся от растопки и лежавший на глиняном очаге. Продолжая пить из чашки горячую воду, Марта машинально прочла:

«М-р Кейр Харди внес в палату общин запрос: предполагает ли правительство, ввиду крайней нужды среди населения северных районов, предоставить школам возможность организовать питание детей неимущих родителей? На это получен ответ, что правительство не намерено предоставить такую возможность».

Лицо Марты, исхудавшее до костей, не выразило ничего – ни интереса, ни возмущения. Оно было непроницаемо, как сама смерть.

Вдруг она обернулась. Так и есть, Роберт проснулся. Он лежал на боку в знакомой позе, подперев щеку рукой, и смотрел на нее. Сразу же вся накопившаяся горечь снова поднялась в душе Марты. Во всем, во всем, во всем виноват он! В эту минуту Роберт закашлялся; она знала, что он все время пытался удержать кашель из страха перед ней. Это был глубокий, тихий, при-

вычный кашель, в нем не было ничего раздражающего. Кашель этот был как будто неотделим от Роберта, – он его не мучил, он одолевал его как-то мягко, почти ласково. Рот его наполнился мокротой. Приподнявшись на локте, Роберт выплюнул ее в клочок бумаги. Он постоянно заготавливал такие квадратики, старательно, заботливо вырезая их из журнала «Тит-Битс» старым кухонным ножом с костяной ручкой. Запас их у него никогда не переводился. Он отхаркивал мокроту в такую бумажку, рассматривал ее, потом складывал и сжигал... сжигал с чувством облегчения. Лежа в постели, он бросал эти сложенные бумажки на пол и сжигал позже, когда вставал.

В Марте внезапно проснулась ненависть к мужу, к этому постоянному кашлю... Тем не менее она поднялась, снова наполнила чашку кипятком и отнесла ему. Роберт молча взял чашку из ее рук.

Стало светлее. Часов в комнате теперь не было, они первыми были заложены – эти мраморные, с башенкой, приз, полученный ее отцом за игру в шары. Да, отец был славный человек и настоящий атлет!

Марта решила, что уже, должно быть, около семи. Она обернула шею чулком Дэвида, надела суконную кепку мужа, перешедшую теперь в ее собственность, и потрепанное черное пальто. Вот это уж, во всяком случае, приличная вещь – ее черное суконное пальто! Она не из тех, что ходят в накинутах на плечи платке, нет! Она всегда была и будет одета, как подобает приличной женщине, несмотря ни на что. Она всю жизнь старалась быть «приличной».

Не сказав ни слова, не взглянув на мужа, она вышла на этот раз через парадный ход и, закрывая лицо от резкого ветра, направилась вниз, в город, по крутому спуску Каупен-стрит.

Было еще холоднее, чем вчера, ужасно холодно. Террасы пустынные, нигде ни души. Марта миновала трактир «Привет», потом Миддлриг, прошла мимо безлюдной лестницы клуба шахтеров, покрытой замерзшими плевками – следы, оставшиеся от последнего собрания, как остается на берегу пена после прилива. На стене было написано мелом: «Общее собрание в три часа». Это написал Чарли Гоулен – тот, что работает контролером у весов, здоровенный шалопай и забулдыга.

Марта дрожала от холода и старалась идти быстрее, но не могла. Ребенок, которого она носила в себе, лежал внутри свинцовым грузом, еще не шевелясь, мешал двигаться, тянул вниз, пригибал к земле. Беременна! В такое время!.. У нее три взрослых сына: Дэвиду, самому младшему, уже скоро пятнадцать... Попасться таким образом! Она сжала кулаки. Негодование закипело в ней. А все он, Роберт... приходит домой пьяный и молча, упрямо делает с ней, что хочет.

Почти все лавки в городе были заперты. Многие закрылись совсем. Даже кооперативная. Но Марта не унывала. В ее кошельке сохранилась еще медная монета в два пенса. На эти два пенса она накупит всего вдоволь. Конечно, к Мастерсу идти бесполезно: вот уже два дня, как он держит на запоре свою лавку, битком набитую закладами, среди которых имеются и ее ценные вещи. Три медных шарика над его дверью позвякивают безнадежно. То же самое у Мэрчисона, и у Доббса, и у Бэйтса – все они закрыли свои лавки, все боятся, до смерти боятся, как бы не случилось беды.

Марта свернула на Лам-стрит, перешла через дорогу, спустилась узким переулком к бойне. Когда она подошла ближе, лицо ее просветлело: Хоб был здесь. В жилетке поверх рубахи и в кожаном фартуке, он подметал залитый бетоном двор.

– Найдется что-нибудь сегодня, Хоб? – Голос ее звучал робко, и она стояла не двигаясь, ожидая, пока он обратит на нее внимание.

Он отлично ее видел, но продолжал, не поднимая головы, сгонять метлой грязную воду с плит. От его мокрых красных рук шел пар. Марта терпеливо дожидалась. Хоб молодчина. Хоб знает ее, он сделает для нее, что может. Она стояла и ждала.

– Нет ли обрешечков, Хоб?

Она просила немногого – какой-нибудь никому не нужный кусок или потроха, которые обычно выбрасывались.

Хоб наконец прервал свою работу и, не глядя на Марту, сказал отрывисто и сердито, потому что ему было неприятно отказывать ей:

– Ничего сегодня нет.

Она смотрела ему в лицо:

– Ничего?

Он покачал головой:

– Ничего! Ремедж приказал нам заколоть весь скот еще вчера вечером, в шесть часов, и все свезти в лавку. Он, должно быть, узнал, что я раздаю кости. Он мне чуть голову не оторвал!

Марта закусила губы. Итак, значит, Ремедж отнял у них надежду поесть супу или жареной печенки. Она стояла расстроенная. Хоб с ожесточением орудовал метлой.

Марта шла обратно задумавшись, постепенно ускоряя шаг, – снова переулком, потом по Лам-стрит до гавани. Она с первого взгляда увидела, что и здесь нет надежды достать хотя бы селедку. Ветер раздувал ее платье, но она стояла неподвижно. Изможденное лицо выражало теперь полное смятение. Не раздобыть и селедки! А она было уже решила обратиться за подачкой к Мэйсерам. Но «Энни Мэйсер» стояла среди других лодок, выстроившихся в ряд за молом, с убранными, нетронутыми сетями. «Это все из-за погоды», – подумала Марта уныло, блуждая взглядом по грязным бурлящим волнам. Ни одна лодка не вышла сегодня в море.

Она медленно повернулась и с поникшей головой зашагала обратно в город. На улицах теперь было больше народу, город оживал, несколько телег с грохотом катилось по мостовой. Прошел Харкнесс из школы на Бетель-стрит, человечек с острой бородкой, в золотых очках и в теплом пальто; пробежало несколько работниц канатного завода в деревянных башмаках; клерк, дуя на окоченевшие пальцы, торопился в канцелярию городского магистрата. Все они старались не замечать Марту, избегали ее взгляда. Они не знали, кто эта женщина, но они знали, что она с Террас, откуда шла беда, та напасть, что обрушилась на весь город и длилась вот уже три месяца. Едва волоча ноги, Марта стала взбираться на холм.

У булочной Тисдэйла стоял запряженный фургон, в который грузили хлеб для развозки. Сын хозяина, Дэн Тисдэйл, бегал из пекарни на улицу и обратно с большой корзиной на плече, наполненной свежеиспеченными хлебами. Когда Марта поравнялась с булочной, у нее дух захватило от вкусного аромата горячего, свежего хлеба, шедшего из подвала, где помещалась пекарня. Она инстинктивно остановилась. Она была близка к обмороку – так сильно ей захотелось хлеба. В эту минуту Дэн вышел на улицу с полной корзиной. Он увидел Марту, увидел и голодное выражение ее лица. Дэн побледнел: что-то похожее на ужас омрачило его глаза. Недолго думая, он схватил хлеб и бросил его Марте в руки.

Она ни слова не вымолвила, но от благодарности чуть не заплакала. Туман застилал ей глаза. Она продолжала свой путь вверх по Каупен-стрит и потом по Севастопольской улице. Марте всегда нравился Дэн, славный парень, который работал в шахте «Нептун», потому что это освобождало от военной службы, а с тех пор, как началась забастовка, помогал отцу развозить в фургоне хлеб. Он часто болтал с ее сыном Дэви.

Немного запыхавшись после крутого подъема, Марта добралась до дверей своего дома и уже взялась было за ручку.

– Знаете, у миссис Кинч заболела Элис, – остановила Марту Ханна Брэйс, ее ближайшая соседка.

Марта покачала головой: всю последнюю неделю дети на Террасах один за другим заболевали воспалением легких.

– Передайте миссис Кинч, что я забегу к ней попозже, – сказала она и вошла к себе.

Все четверо – Роберт и трое сыновей – уже встали, оделись и собрались вокруг огня. Как и всегда, глаза Марты первым делом обратились к Сэмми. Он улыбнулся ей, не разжимая губ,

подкупающей улыбкой, от которой его голубые глаза, глубоко посаженные под шишковатым лбом, превращались в едва видные щелочки. В улыбке Сэма сквозила беспредельная уверенность в себе. Он был старший сын и любимец Марты и, несмотря на свои девятнадцать лет, работал уже забойщиком в шахте «Нептун».

– Эге, гляди-ка! – Сэм подмигнул Дэвиду. – Гляди, какова у нас мамаша! Ходила, ходила до тех пор, пока не подцепила где-то целую буханку для тебя!

Дэви в своем углу кротко улыбнулся; это был худенький, тихий и бледный мальчик с серьезным и упрямым выражением продолговатого лица. Когда он наклонился к огню, на спине его резко выступили лопатки; большие темные глаза всегда глядели пытливо и строго, но сейчас их взгляд немного смягчился. Дэвиду было четырнадцать лет, он работал под землей в «Нептуне» на участке «Парадиз» в качестве коногона, по девяти часов в смену, в настоящее же время бастовал и был порядком голоден.

– Что вы на это скажете, ребята? – продолжал Сэм. – Дядя Сэмми тренируется для роли «живого скелета», теряет в весе шестьдесят кило за две недели, потому что выполняет «Советы полным дамам» и проходит курс лечения от тучности. А тут мамаша является домой с таким угощением! Тяжелая задача для Сэмми, не так ли, Гюи, парнишка?

Марта сдвинула темные брови:

– Скажи спасибо, что хоть это достала. – И принялась резать хлеб на ломти.

Все следили за ней как зачарованные. Даже Гюи, занятый починкой своих старых футбольных башмаков, и тот поднял глаза. А чтобы отвлечь мысли Гюи от футбола, требовалось немаловажное событие. Гюи был прямо-таки помешан на футболе. Он был «центральный нападающий» футбольной команды – это в семнадцать лет, заметьте! – и посвящал ей все то время, когда не был занят откаткой вагонеток в «Парадизе» в шахте «Нептун».

Гюи редко находил, что сказать. Он был молчалив, еще молчаливее, чем его отец. Он ничего не ответил Сэму, но тоже не отрывал глаз от хлеба.

– Ах, извини, мама. – Сэмми вскочил и взял из рук Марты тарелку с нарезанным хлебом. – И о чем я только думаю! Совсем забыл правила хорошего тона. «Разрешите мне...» – как сказал герцог в великолепном мундире тайнсайдских гусар. – И Сэм поднес тарелку отцу.

Роберт взял один ломтик, посмотрел на него, потом на Марту:

– Это из попечительства?¹ Если от них, то я не стану есть.

Их взгляды скрестились.

Он повторил упавшим голосом:

– Я тебя спрашиваю: откуда хлеб? Из попечительства или нет?

Марта все еще смотрела на него, думая о том, каким безумством с его стороны было ухлопать все их сбережения на эту забастовку. Она ответила:

– Нет.

– Господи, да не все ли равно? – с шумной веселостью вмешался Сэм. – Никто из нас не откажется его есть, я полагаю. – Он выдержал взгляд отца все с той же дерзкой веселостью. – Нечего так смотреть на меня, папа. Всему бывает конец. И я не заплачу, когда это кончится. Я хочу работать, а не сидеть сложа руки и дожидаться, пока мать добудет какую-нибудь жратву. – Он обратился к Дэви: – Прошу вас, граф, возьмите кусок этой мочалы! Не сомневайтесь! Уверю вас, единственное, что может случиться, это то, что вас стошнит...

Марта вырвала тарелку из его рук:

– Я не люблю таких шуток, Сэмми! Нечего хаять хорошую пищу!

Она сердито хмурилась, говоря это, но все же дала Сэму самый большой ломоть, другой протянула Гюи, а себе оставила самый маленький.

¹ Попечительство о бедных.

II

Десять часов. Дэвид взял шапку, вышел из дому и побрел по неровно осевшей мостовой Инкерманской улицы. Все улицы шахтерского поселка в Слiskeйле носили названия тех мест Крыма, где были некогда одержаны славные победы. Главная улица – та, на которой жил Дэвид, – называлась Инкерманской, соседняя – Альминской, под ней шла Севастопольская, а в самом низу, где жил Джо, – Балаклавская. Дэвид направился к Джо, в надежде, что тот пойдет с ним погулять.

Ветер утих, и неожиданно выглянуло солнце. Обилие яркого света радовало мальчика, хотя он и слепил не привыкшие к нему глаза. Дэвид работал в шахте и зимой часто не видел солнца по многу дней подряд: когда он утром спускался в шахту, было еще темно, и в такой же темноте он вечером поднимался наверх.

А сегодня день, хотя и холодный, ярко сиял, наполняя все существо Дэвида какой-то необычайной радостью и смутными воспоминаниями о тех редких случаях, когда отец отпрашивался удить рыбу на Уонсбек и брал его с собой. Мрак и грязь шахты оставались далеко позади, вокруг зеленел орешник и журчала чистая, прозрачная вода... «Гляди, гляди, папа!» – вскрикивал он, когда его восхищенный взгляд встречал целую полянку раннего первоцвета.

Дэвид свернул на Балаклавскую.

Подобно другим улицам шахтеров, она имела в длину всего каких-нибудь пятьсот ярдов. Здесь было царство почерневших от грязи и копоти каменных домов, испещренных безобразными белыми шрамами в тех местах, где были залиты известкой самые большие или свежие трещины. Четырехугольные трубы, полуразвалившиеся, покривившиеся, походили на пьяных. Длинный ряд крыш из-за оседания домов тянулся волнообразной линией, напоминая море в бурную погоду. Дворы были обнесены заборами, сооруженными из чего попало: сгнивших железнодорожных шпал, кольев, ржавого рифленого железа; за заборами навалены кучи пустой породы и шлака. В каждом дворе была общая уборная, и в каждой такой уборной стоял железный бак. Уборные были похожи на сторожевые будки между рядами домов, а в конце каждого ряда беспорядочно громоздились разные службы, выстроенные кое-как на неровной земле, рядом с голыми участками рельсовых путей. Шахта «Нептун № 17» была расположена приблизительно посередине, а за ней простирался кочковатый, весь изрезанный канавками унылый пустырь «Снук». Пустырь окаймляли старые выработки «Нептуна», заброшенные сотню лет назад. На «Снук» выходило зияющее устье старой шахты Скаппер-Флетс. На плоской равнине далеко вокруг не видно было ничего, кроме труб, отвалов, надшахтных копров – всего, что связано с копами. Развешанное на веревках белье с прямо-таки оскорбительной резкостью выделялось сочными голубыми и алыми тонами на унылом грязно-сером фоне этого места. Белье на веревках придавало всей картине какую-то своеобразную мрачную красоту.

Дэвиду все здесь было хорошо знакомо. Он и раньше находил в этом мало привлекательного, а теперь – меньше, чем когда бы то ни было. Над длинным рядом прижатых друг к другу унылых жилищ словно нависла атмосфера апатии и безнадежности. Несколько шахтеров – Боксер Лиминг, Кикер Хау, Боб Огль и другие, весь кружок завязанных картежников, – сидели на корточках у стены. Они теперь не играли в карты, потому что у них не было ни гроша медного, и сидели молча, просто так, от нечего делать. Боб Огль, работавший в «Парадизе» в первой смене, кивком поздоровался с Дэви, поглаживая узкую голову своей гончей. Лиминг промолвил:

– Здорово, Дэви.

Дэвид ответил:

– Здорово, Боксер.

Остальные с интересом посматривали на Дэвида, так как он был сыном Роберта, зачинщика забастовки. Перед ними стоял бледный мальчик в грубошерстном костюме, из которого он давно вырос, с бумажным шарфом на шее, в тяжелых шахтерских башмаках на деревянной подошве (хорошие были заложены), с давно не стриженными волосами и большими рабочими руками, по-детски тонкими в запястье.

Он чувствовал на себе любопытные взгляды, но, спокойно выдержав их, с высоко поднятой головой зашагал к дому № 19, где жил Джо. На воротах этого дома была вкось и вкривь наклеена вывеска: «Агент по продаже велосипедов. Похоронное бюро. Даются обеды». Дэвид вошел.

Джо и его отец, Чарли Гоулен, завтракали: на деревянном некрашеном столе стояли горшок, полный холодного паштета, большой коричневый чайник, открытая жестянка со сгущенным молоком и неровно початый каравай хлеба. Беспорядок на столе был невообразимый. Такой же хаос царил во всей квартире из двух комнат – грязь, куча всяких съестных припасов, треск огня, разбросанная повсюду одежда, немытая посуда, запах неопрятного жилья, пива, сала, пота – и во всем неряшливый, убогий комфорт.

– Алло, мальчик, как поживаешь?

Чарли Гоулен сидел в ночной сорочке, заправленной в брюки с незастегнутыми, свисавшими на толстый живот подтяжками, в ковровых домашних туфлях на босу ногу. Отправив в свой большой рот громадный кусок мяса, он помахал могучим красным кулаком, в котором держал нож, и приветливо закивал Дэвиду. Чарли был неизменно приветлив, всегда и со всеми; да, этот Большой Чарли, контролер-весовщик в «Нептуне», был, что называется, душа человека. Он ладил с рабочими, ладил и с Баррасом. Он был на все руки мастер – сам хозяйничал, так как жена его умерла три года тому назад, не прочь был тайком поохотиться на кроликов или половить лососей там, где это было запрещено.

Дэвид сидел, наблюдая, как ели Джо и Чарли. А ели они со вкусом, с безмерным аппетитом, молодые челюсти Джо методически жевали. Причмокивая жирными губами, Чарли выгребал ножом застывший соус из горшка с паштетом. Дэвид невольно облизнулся, рот его наполнился слюной. Вдруг, когда они уже почти кончили завтрак, Чарли, словно осененный внезапной догадкой, перестал на минуту орудовать ножом в горшке:

– Может быть, и ты, паренек, не прочь поскрести в горшке?

Дэвид отрицательно покачал головой: что-то заставило его отказаться. Он усмехнулся:

– Я уже завтракал.

– Ах так! Ну что ж, раз ты уже перекусил... – Маленькие глазки Чарли лукаво поблескивали на широком красном лице. Он покончил с паштетом. – А что думаешь твой отец теперь? Ведь похоже на то, что дело наше лопнуло?

– Не знаю.

Чарли облизал нож и удовлетворенно вздохнул:

– Да, натерпелись мы горя... Я с самого начала был против... и Геддон был против. Никто из нас не хотел этого. Поднимать историю из-за кожанов² и полпенни прибавки на тонну! Говорил я, что из этого ничего не выйдет.

Дэвид посмотрел на Чарли. Чарли был весовщиком от рабочих, служащим местной организации Союза горняков и состоял в приятельских отношениях с Геддоном, представителем Союза в Тайнкасле. И Чарли отлично знал, что дело тут вовсе не в кожаных и не в прибавке полпенни на тонну угля.

Дэвид сказал серьезно:

– В шахтах Скаппер-Флетс очень много воды.

² Кожаны – непромокаемые куртки для шахтеров.

– Воды! – Чарли улыбнулся снисходительной улыбкой всезнающего человека. Он работал у выхода шахты, проверяя вес поднятых наверх вагонеток с углем, в шахту ему никогда не приходилось спускаться, поэтому он был против забастовки и разыгрывал авторитетного специалиста. – «Парадиз» всегда был мокрым местом. Там вода стояла подолгу. И Скаппер-Флетс, я думаю, не хуже остальных шахт. Не такой человек твой отец, чтобы испугаться лишней капли воды, ведь правда?

Дэвид, не глядя, чувствовал, что Чарли ухмыляется, и негодование его росло. Он сказал сдержанно:

– Отец работает внизу вот уже двадцать пять лет, так что вряд ли он боится воды.

– Отлично, отлично, я так и знал, что ты это скажешь. Стой крепко за отца. Если не ты, то кто же за него постоит? Я тебя за это ничуть не осуждаю. Ты парень сметливый.

Чарли громко рыгнул, уселся на свое место у огня и принялся набивать почерневшую трубку, зевая и потягиваясь.

Джо и Дэви вышли на улицу.

– Ему-то не приходилось спускаться в «Парадиз»! – непочтительно заметил Джо, как только дверь за ними захлопнулась. – Старый черт! Ему бы очень полезно было поработать внизу в воде, как работаю я.

– Не в одной только воде тут дело, Джо, – сказал убежденно Дэвид. – Знаешь, мой отец говорит...

– Знаю, знаю! Мне до смерти надоело все это слышать, и всем остальным тоже, Дэви. Твой отец знает Скаппер-Флетс, а думает, что знает все штреки.

Дэвид горячо возразил:

– Поверь, Джо, ему известно очень многое. Не для потехи же он все это затеял!

– Он-то нет, а вот некоторые другие... Осточертело им работать в воде, вот они и подумали, что хорошо будет отдохнуть. Ну а теперь, после того как они этим треклятым отдыхом вволю натешились, они рады на все пойти, только бы снова начать работать, хотя бы шахты доверху были залиты водой.

– Что ж, пускай выходят на работу.

Джо сказал хмуро:

– Они и выйдут, можешь быть спокоен. Вот подожди, в три часа будет собрание, тогда услышишь. И не становись, пожалуйста, на дыбы! Меня все это бесит не меньше, чем тебя. Опротивела мне эта шахта проклятушая! При первом удобном случае улизну отсюда, – я вовсе не намерен торчать здесь до конца своих дней! Я хочу обзавестись монетой и пожить в свое удовольствие.

Дэвид молчал, расстроенный и возмущенный, чувствуя, что все в жизни против него. Ему тоже хотелось бы избавиться от «Нептуна», но не таким путем, каким хотел сделать это Джо. Он вспомнил, как Джо убежал когда-то, как его, плачущего, привел обратно Роддэм, полицейский сержант, а потом отец задал ему здоровую порку.

Мальчики молча шагали рядом. Джо, немного рисуясь, на ходу раскачивался всем телом, засунув руки в карманы. Это был хорошо сложенный подросток, двумя годами старше Дэвида, с квадратными плечами, прямой спиной, густой шапкой черных курчавых волос и небольшими живыми карими глазами. Джо был очень красив и знал это. Во взгляде его светилась самоуверенность, даже в лихо заломленной кепке чувствовались задор и тщеславие. Помолчав некоторое время, он продолжал:

– Когда хочешь жить в свое удовольствие, надо иметь деньги. А разве здесь, на шахтах, накопишь что-нибудь? Черта с два! На большие деньги здесь рассчитывать нечего. Ну а я хочу жить весело, мне нужно много денег. Пойду искать в других местах. Тебе-то хорошо, ты, может быть, попадешь в Тайнкасл: твой отец хочет, чтобы ты поступил в колледж... Вот тоже одна из

его фантазий!.. А мне придется самому о себе позаботиться. И позабочусь, вот увидишь! Надо только одно запомнить: занимай место, пока его не занял другой!

Джо вдруг оборвал свою хвастливую болтовню и дружески ударил Дэви по плечу, улыбаясь веселой и ласковой улыбкой. Когда Джо хотел, он умел быть веселым и приятным, как никто, – его веселость согревала душу, красивые карие глаза излучали доброту, и он казался самым славным из всех славных малых.

– Пойдем к лодке, Дэви, покатаемся у берега, потом отъедем подальше – авось попадется что-нибудь.

Они прошли уже Кэй-стрит, вышли к берегу, перелезли через дамбу и очутились на твердом песке. За ними тянулась цепь высоких дюн, поросших редкой жесткой травой и осокой, покрытой налетом соли. Дэвид любил дюны. Летом, по субботам, когда шахтеры рано поднимались наверх из «Нептуна» и отец отправлялся с товарищами в трактир «Привет», Дэвид забирался на дюны и здесь в одиночестве, среди осоки, слушал пение жаворонка, бросив свою книгу и ища глазами крошечное пятнышко – там, высоко в ярко-голубом небе. И сейчас его тянуло лечь на песок. Голова опять кружилась, толстый ломоть свежего хлеба, проглоченный утром с такой жадностью, свинцом лежал у него в желудке. А Джо шел быстро и был уже у мола.

Взобравшись на мол, они очутились в гавани. Здесь в тихой пенившейся воде несколько мальчишек с Террас собирали уголь. Привязав к шесту старое ведро, в котором были пробиты дырки, они вылавливали им куски угля, упавшие в воду при погрузке барж еще в то время, когда в порту работали. Лишившись угольного пайка, который рабочие получали из шахты два раза в месяц, они рылись здесь в грязи в поисках топлива, о котором прежде никто бы и не вспомнил. Джо смотрел на них с тайным пренебрежением. Он стоял у воды, широко расставив ноги и засунув руки в карманы брюк. Джо испытывал презрение к этим беднякам. Погреб его отца был набит отличным углем, украденным из шахты: Джо сам воровал его, выбирая лучший из кучи. А желудок его был всегда набит пищей, хорошей пищей, – об этом заботился Чарли, его отец. И все потому, что они с отцом знали, как нужно действовать: брать, добывать все, а не стоять вот так в воде, дрожа, умирая с голоду, роясь в грязи с робкой надеждой – авось что-нибудь сжалится над тобой и прыгнет к тебе в ведро.

– А, Джо, здорово! – заискивающе окликнул его Нед Софтли, слабоумный откатчик из «Парадиза». Его длинный нос покраснел и все тщедушное недоразвитое тело судорожно дрожало от холода. Он бессмысленно посмеивался. – Нет ли окурочка, Джо, голубчик? Смерть покурить хочется.

– Будь я проклят, Нед, дружище... – Джо мгновенно проявил сочувствие и великолепный размах. – Будь я проклят, если это у меня не последний! – Он вытащил торчавший у него за ухом окуроч, огорченно посмотрел на него и зажег его с самым дружеским сожалением. Но когда Нед, взяв окуроч, отошел, Джо ухмыльнулся: конечно, у него в кармане лежала целая пачка папирос «Вудбайн». Но неужели же рассказывать об этом Неду? Боже сохрани! Все еще усмехаясь, Джо посмотрел на Дэвида, как вдруг чей-то вопль заставил его быстро обернуться.

Это вопил Нед, громко протестуя. Он набрал полный или почти полный мешок угля, проработав три часа на пронизывающем ветру, и только что собрался взвалить мешок на спину и нести домой, как Джейк Уикс опередил его. Джейк, здоровенный неотесанный малый лет семнадцати, преспокойно дожидался подходящего момента, чтобы присвоить добычу Неда. Он подхватил мешок и, с вызовом посмотрев на остальных, хладнокровно, походкой гуляющего человека, зашагал из гавани. В толпе мальчишек раздался взрыв хохота. Ну и потеха! Джейк стащил уголь Софтли и идет себе с ним как ни в чем не бывало, а Нед ревет и визжит ему вслед как сумасшедший! Настоящая комедия! Джо хохотал громче всех.

Не смеялся только Дэвид. В лице его не было ни кровинки.

– Джейк не смеет брать этого угля, – сказал он тихо. – Это уголь Софтли. Софтли его собирал.

– Хотел бы я видеть, кто ему помешает! – Джо захлебывался от смеха. – О господи! Нет, ты только посмотри на рожу Неда, скорее посмотри!..

Юный Уикс шествовал по дамбе, легко неся мешок, а за ним с плачем бежал Софтли, сопровождаемый толпой оборванцев.

– Это мой уголь, – хныкал Нед, и слезы текли по его лицу. – Я столько навозился тут, пока собрал его, ведь маме нечем топить...

Дэвид сжал кулаки и шагнул наперерез Уиксу. Тот сразу остановился.

– Эй, – сказал он. – А тебе чего?

– Это уголь Неда, – сказал Дэвид сквозь стиснутые зубы. – Ты не смеешь его отнимать. Это нечестно. Несправедливо.

– Черт возьми! – пробурчал Джейк растерянно. – А кто же это мне запретит?

– Я.

В толпе больше никто не смеялся. Джейк не торопясь опустил мешок на землю:

– Ты?

Дэвид утвердительно кивнул головой. Нервы его были до того напряжены, что он не мог произнести ни слова. В нем кипело возмущение несправедливым поступком Джейка. Уикс был уже почти взрослый, курил, ругался и пил водку, как мужчина. Он был на целый фут выше Дэви и на полпуда тяжелее. Но Дэвида это не остановило, он в эту минуту помнил только одно: надо помешать Уиксу обидеть Неда Софтли.

Уикс вытянул перед собой кулаки, один над другим.

– Ну-ка ударь! – ехидно предложил он. Это был традиционный вызов на бой.

Дэви одним взглядом охватил одутловатое, прыщавое лицо Джейка, увенчанное копной светлых, как лен, волос. Он видел как-то особенно отчетливо и ясно и угри на нечистой коже Джейка, и крошечный бугорок на его левом веке. Затем он быстрым, как молния, движением сбил вниз кулаки Джейка, а правой рукой нанес ему сильный удар в нос.

Замечательный удар! Нос Джейка заметно сплюснулся, из него хлынула кровь. Толпа взревела, и трепет неистового и радостного возбуждения пронизал Дэвида.

Джейк отступил, мотая головой, как собака, потом яростно бросился вперед. Он размахивал руками, словно молотя цепом.

В эту минуту из обступившей их толпы раздался предостерегающий крик:

– Берегись, ребята, Скорбящий идет!

Дэвид, отвлеченный этим криком, повернул голову, и кулак Джейка угодил ему прямо в висок.

Сразу же все стало как-то странно уплывать назад, все закружилось перед его глазами, на миг ему почудилось, будто он спускается в шахту, – так внезапно надвинулась на него темнота и зазвенело в ушах. Потом он лишился сознания. Увидев, что он упал, мальчишки поспешно разбежались. Даже Нед Софтли торопливо ушел, не забыв захватить свой уголь.

Скорбящий тем временем подошел ближе. Он прогуливался по берегу, наблюдая, как волны тихо набегали на песок и отбегали назад. Иисус Скорбящий очень любил море. Он каждый год брал в «Нептуне» отпуск на десять дней и проводил его в Уитли-Бэй, мирно бродя взад и вперед по набережной с двумя щитами, на которых начертан был его любимый текст: «Иисус скорбел о грехах мира». Эти же слова были выведены золотыми буквами на фасаде его домика, и потому-то, хотя настоящее имя этого человека было Клем Дикери, его все звали Иисус Скорбящий или просто Скорбящий. Скорбящий работал в копиях, но жил не на Терра-сах. Жена его Сюзен пекла пироги и торговала ими в маленькой лавчонке в конце Лам-стрит, а над лавчонкой помещалась их квартира. Сюзен предпочитала другой, более грозный текст Священного Писания: «Будь готов предстать перед Господом». Этот текст был напечатан на всех бумажных мешочках, в которых она отпускала свои изделия, и отсюда в Слискейле пошла поговорка: «Ешь пироги Сюзен Дикери и готовься предстать перед Господом». Но пироги были

отличные. Дэвид их любил. Любил он и Клема Дикери. Скорбящий был тихий, безобидный фанатик. И он, по крайней мере, был человеком искренним.

Когда Дэвид очнулся и открыл затуманенные глаза, Скорбящий стоял, наклонясь над ним, похлопывал его по ладоням и глядел на него с огорчением и беспокойством.

– Теперь все прошло, – сказал Дэвид, с трудом приподнявшись на локте.

Скорбящий проявил замечательную выдержку, ни словом не упомянув о драке. Вместо этого он спросил:

– Ты когда в последний раз ел?

– Сегодня утром. Я завтракал.

– Встать можешь?

Дэвид поднялся, держась за Клема. Он пошатывался, но пытался улыбкой скрыть слабость.

Скорбящий мрачно смотрел на него. Он всегда говорил и действовал напрямик.

– Ты ослабел от голода, – сказал он. – Пойдем ко мне.

Поддерживая мальчика, он медленно вел его по песку через дюны и привел в свой дом на Лам-стрит.

На кухне у Дикери Дэвида усадили за стол. Здесь Клем устраивал свои «кухонные собрания». На стенах ярчайшими красками пылали аллегорические изображения «Страшного суда», «Воскресения мертвых», «Широкой и узкой стези». На этих картинах было множество парящих ангелов, бесполох, светлокудрых, в белоснежных одеяниях, они трубили в золотые трубы. Ангелов окружало ослепительное сияние. А ниже царил мрак – там, среди разрушенных коринфских колонн, были исчадия тьмы, подгоняя толпы грешников, трепетавших на краю бездны.

Над камином были развешаны на веревочках сухие травы и морские водоросли. Клем знал все лекарственные растения и во время цветения усердно собирал их под изгородями и среди скал. И сейчас он стоял у огня, заваривая что-то вроде ромашки в фаянсовом чайнике. Заварив, налил полную чашку и поставил ее перед Дэвидом, затем, не говоря ни слова, вышел из кухни.

Дэвид выпил отвар. Горькая, но ароматная и очень горячая жидкость согрела его, подкрепила и успокоила. Он забыл о драке и почувствовал, что голоден. Тут дверь отворилась, снова вошел Скорбящий и с ним его жена. Она до странности походила на своего мужа, эта маленькая опрятная женщина, всегда в черном, тихая, неторопливая и с таким же, как у Клема, спокойно-сосредоточенным выражением лица. Молча поставила она перед Дэви тарелку с двумя только что испеченными пирожками, потом из синего эмалированного кувшинчика облила каждый пирожок горячим соусом.

– Ешь не сразу, а помаленьку, – сказала она ровным голосом и, отойдя, стала рядом с мужем. Оба наблюдали за мальчиком, который после минутного колебания принялся за еду.

Пирожки были восхитительны, подливка жирная, вкусная. Дэвид съел один пирожок до крошки, потом, случайно подняв глаза, увидел, что муж и жена все еще смотрят на него с серьезным выражением. Скорбящий торжественно процитировал вполголоса текст Священного Писания: «Я напитаю вас и детей ваших. И Он утешал их и ласково говорил с ними».

Дэвид пытался улыбкой выразить благодарность, но от неожиданности ли этой проявленной к нему доброты или от чего другого – у него вдруг перехватило горло. Его это злило, но он ничего не мог с собой поделать. Им овладело мучительное волнение при воспоминании о том, что он перенес, что все они перенесли за последние три месяца. Ужас всего этого внезапно встал перед ним. Он вспомнил, как они урезывали себя во всем, закладывали вещи, вспомнил скрытую горечь в отношениях между родителями, раздражительность матери, упорство отца... Ему было только четырнадцать лет. И за весь вчерашний день он съел одну репу, которую взял

на ферме Лиддля. Мир вокруг был богат и прекрасен, а он, как дикое животное, забрался на поле и украл репу, чтобы утолить голод.

Дэвид опустил голову на худенькую руку. В нем росла неожиданная страстная потребность изменить все это, сделать что-нибудь, что помогло бы людям, заживило их раны. Он *должен* сделать что-нибудь! И делает. Слеза покатилась по щеке и капнула в подливку. На стенах ангелы трубили в трубы. Дэвид сконфуженно высморкался.

III

Половина второго. В «Холме» кончают завтракать. Артур сидит за столом, держась очень прямо, его голые коленки скрыты под белой скатертью, а башмаками он едва достает до пушистого темно-красного ковра. Пока завтракали, он все время смотрел на отца, не отрывая от него любящих, встревоженных глаз. Атмосфера скрытого напряжения, предчувствие какого-то кризиса пугали, почти парализовали Артура. И, как всегда в минуты сильного волнения, он потерял аппетит, самый вид еды вызывал у него тошноту. Артур слышал, что сегодня собрание шахтеров, рабочих отца, которым полагалось честно и преданно работать в его копях. Он знал, что все зависит от этого собрания, что на нем решится вопрос, выйдут ли шахтеры на работу или будут продолжать свою ужасную забастовку. Эта мысль вызывала у Артура легкий трепет беспокойства. В глазах его светилась горячая преданность отцу.

Волнение Артура объяснялось еще и тем, что он ждал от отца приглашения поехать с ним в Тайнкасл. Он ожидал этого с десяти часов утра, с той минуты, когда услышал, что Бартли приказано запрягать шарабан. Но обычного приглашения не последовало. Отец едет в Тайнкасл, едет к Тоддам, а его, Артура, не берет! С этим было очень трудно примириться.

За столом шел спокойный разговор, направляемый отцом Артура. Такого рода мирные беседы велись здесь все время, пока шла забастовка, – и всегда на самые нейтральные темы: о предстоящей постановке «Мессии» в Союзе певчих, о том, помогает ли матери новое лекарство, о том, как хорошо растут цветы на бабушкиной могилке, – и всегда в спокойном, очень спокойном тоне. Ричард Баррас был вообще человек уравновешенный. Во всем его поведении сказывалась непоколебимая выдержка. Он сидел во главе стола, сурово-безмятежный, словно эти три месяца забастовки в его шахте «Нептун» были совершеннейшей чепухой, – сидел в своем большом кресле, чопорно выпрямившись (вот почему Артур тоже старался держаться прямо), и ел сыр, сельдерей из собственных парников и пудинг. Простое меню. Весь завтрак состоял из самых простых блюд, – этого требовал Баррас. Он любил придерживаться известного режима: тонкие ломтики говядины, холодная ветчина, баранье филе – все в свое время. Он терпеть не мог пышности и богатой сервировки. Он это запрещал у себя в доме. Ел он как-то рассеянно, сжимая узкие красные губы и грызя крепкими зубами сельдерей. Это был человек среднего роста, но с широкой грудью, могучими плечами и большими руками. В нем чувствовалась большая физическая энергия. У него было румяное скуластое лицо и мускулистая шея, такая короткая, что казалось, голова вырастала прямо из груди. Седоватые волосы были коротко острижены, глаза с красивым разрезом глядели пронзительно. Это был тип северянина, несколько суровый и тяжеловесный. Человек твердых убеждений и твердой веры, либерал, который строго соблюдал воскресенье, он ввел у себя в доме общую вечернюю молитву, читал членам семьи вслух Библию, часто доводя Артура до слез, и не боялся признаться, что в юности сочинял гимны. Вообще у Барраса хватило бы смелости признаться в чем угодно. Когда он вот так, как сейчас, сидел за столом, выделяясь на желтом лакированном фоне большого американского органа, который он из любви к музыке Генделя поставил в столовой, истратив на него большие деньги, вся его фигура, казалось, излучала присущую ему внутреннюю цельность. Артур это инстинктивно чувствовал. Он любил отца. Для Артура отец был совершенством, богом.

– Да ну же, Артур, ешь пудинг, милый!

Услышав мягкий упрек тети Кэрри, Артур в замешательстве посмотрел на стоявшую перед ним тарелку. Пудинг – из остатков пирога, из подгорелых кусков, – он терпеть его не мог, но сделал над собой усилие и принялся есть, в надежде, что отец заметит это и похвалит его.

Хильда уже кончила завтракать и смотрела куда-то в пространство; лицо ее, как всегда, было угрюмо. А Грэйс, улыбающаяся, простодушная, казалось, чему-то тайно радовалась про себя.

- Вы вернетесь к чаю, Ричард? – почтительно спросила тетя Кэрри.
- Да, к пяти часам, – был сдержанный, лаконичный ответ.
- Хорошо, Ричард.
- Вы бы спросили у Гарриэт, нет ли у нее каких-нибудь поручений.
- Сейчас, Ричард.

Тетя Кэрри наклонила голову. Она всегда выказывала стремительную готовность повиноваться Ричарду. Голова у нее обычно наклонена была немного набок, в знак покорности, покорности всем и всему, главным же образом – своей судьбе.

Тетушка Кэролайн Уондлес знала свое место. Она никогда ни на что не претендовала, несмотря на то что происходила из хорошей нортумберлендской семьи, одной из знатных фамилий графства. Не злоупотребляла она и тем, что была сестрой жены Ричарда. Она присматривала за детьми, занималась с ними каждое утро в классной комнате, сидела у их постели, когда они заболели, неутомимо ухаживала за Гарриэт, готовила всякие вкусные вещи, выращивала цветы, штопала чулки, вязала теплые шарфы, собирала, считала и записывала грязное белье со всего дома, – и все это с видом кроткой услужливости. Пять лет тому назад, когда Гарриэт слегла, тетя Кэрри приехала к Баррасам в их усадьбу «Холм», чтобы помогать по хозяйству, как приезжала всегда на роды Гарриэт. Эта начинавшая уже полнеть сорокалетняя дама с бледным пухлым лицом, с морщиной заботы на лбу, с небрежно заколотыми волосами неопределенного цвета, умела быть полезной. Ей, вероятно, неизмеримое число раз представлялась возможность закрепить за собой известные права в этом доме, но она никогда не забывала о своей зависимости и усвоила себе некоторые привычки человека, занимающего подчиненное положение. В спальне у себя она прятала чайник и запас печенья; пока другие беседовали, она неслышно ускользала из комнаты, как будто вдруг решив, что она здесь лишняя; при других она обращалась к слугам с подчеркнутой официальной вежливостью, наедине же разговаривала с ними приветливо, даже фамильярно, с заискивающей доброжелательностью: «Хотите, Энн, я вам подарю эту блузку? Смотрите, дитя мое, она еще совсем мало ношена...»

Тетя Кэрри имела немного денег в процентных бумагах, они приносили ей около ста фунтов годового дохода. Все ее платья были серого цвета, одного и того же оттенка. Она слегка прихрамывала – следствие какого-то несчастного случая в юности, – и глухая молва, без всяких к тому оснований, утверждала, будто в ту же пору ее жизни с ней дурно поступил один господин. Тетя Кэрри всю жизнь принимала каждый вечер горячую ванну – это было ее любимым удовольствием. Но она всегда ужасно боялась, как бы Ричарду не понадобилась ванная комната как раз тогда, когда она ею пользовалась; иногда это мучило ее даже во сне, и после такого ночного кошмара она просыпалась бледная, вся в поту, убежденная, что Ричард *видел* ее в ванне.

Баррас обвел взглядом стол. Все кончили завтракать.

– Не съешь ли ты бисквит, Артур? – спросил он настойчиво, положив руку на серебряную крышку стеклянной сухарницы.

– Нет, папа, спасибо. – Артур в волнении проглотил слюну.

Ричард налил себе воды и уверенной рукой поднял стакан. Вода, казалось, стала еще прозрачнее, еще холоднее оттого, что он подержал стакан в руке. Он медленно выпил ее.

Молчание. Но вот наконец Ричард поднялся и вышел из комнаты.

Артур чуть не заплакал. Отчего, отчего отец не берет его с собой в Тайнкасл именно сегодня, когда ему так хочется быть с отцом? Почему он не хочет взять его с собой к Тоддам? Отец, видимо, едет к Адаму Тодду, горному инженеру, его старому другу, не в гости, а по делу. Так что же из этого? Он все-таки мог бы взять его с собой, – ему так хотелось поиграть с

Гетти. С тяжелым сердцем торчал Артур в передней (которую тетя Кэрри называла вестибюль), рассматривая узор облицовки из черных и белых плиток, глаза на любимые картины отца. Несмотря ни на что, он все еще не терял надежды. Хильда с книгой прошла наверх в свою комнату. Артур не обратил на нее внимания. Они с Хильдой не очень любили друг друга: она была слишком резка, неразговорчива, нелепо вспыльчива; казалось, в душе она постоянно борется с чем-то невидимым. Ей шел только восемнадцатый год. Три месяца назад, перед самым началом забастовки, она остригла волосы. Это еще больше оттолкнуло от нее Артура. Он замечал, что Хильда никому не нравится: она некрасива, строга, и вид у нее такой, словно она презирает всех и все. Кожа у нее смуглая, и от нее никогда не пахнет духами.

Артур все стоял в передней. Из классной сошла вниз Грэйс с яблоком в руке.

– Пойдем, Артур, покормим Боксера, – попросила она. – Пойдем со мной, ну пожалуйста!

Артур смотрел на одиннадцатилетнюю Грэйс сверху вниз, – она была на год моложе его и на целый фут ниже! Он завидовал ее постоянной веселости. Грэйс обладала счастливейшим характером. Это была хорошенькая, милая, но ужасно неряшливая девочка. Гребенка, косо торчавшая в ее мягких светлых волосах, придавала личику комично-удивленное выражение; в больших голубых глазах светилось наивное простодушие. Даже Хильда любила Грэйс. Артур видел однажды, как она после страшной вспышки гнева принялась вдруг с бурной нежностью тискать Грэйс в объятиях.

Артур раздумывал: идти или не идти ему с Грэйс? Он никак не мог решить. Для него всегда было мучением решать что-нибудь. В конце концов он отрицательно покачал головой.

– Ты иди, а я не пойду, – заявил он мрачно. – Я расстроен из-за забастовки.

– Неужели, Артур? – спросила Грэйс с удивлением.

Он утвердительно кивнул головой. Ему стало еще грустнее при мысли, что он лишает себя удовольствия видеть, как пони будет жевать яблоко.

Грэйс ушла, а он все стоял, прислушиваясь. Наконец отец сошел вниз с черным кожаным портфелем под мышкой. Не обращая внимания на Артура, он направился прямо к ожидавшему его экипажу, сел и уехал.

Артур был глубоко обижен, подавлен, убит горем. Не оттого, что ему не придется побывать в Тайнкасле и погостить у Тоддов. Конечно, Гетти – милая девочка, ему нравились ее длинные шелковистые косы, веселый смех, теплота ее рук, когда она порой обнимала его за шею, прося купить ей шоколадного крема на тот шестипенсовик, что он получал каждую субботу. О да, он любит Гетти и, наверно, женится на ней, когда вырастет. Он любил и ее брата Алана, и «старину Тодда» (так Алан зовет своего отца) с колючими, всегда испачканными табаком усами, с желтыми точками в глазах и таким странным запахом гвоздичного масла и еще чего-то. Но сейчас его огорчало вовсе не то, что он их не увидит, – его огорчало, мучило, убивало пренебрежение со стороны родного отца.

Может, он, Артур, и не заслуживает внимания. Пожалуй, в этом-то все дело. Он так мал для своих лет и, должно быть, не совсем здоров, – тетя Кэрри несколько раз при нем говорила: «Артур такой хрупкий». Хильда училась в школе в Хэррогейте, и Грэйс скоро туда же поступит. А вот его, Артура, не пускают в школу! И у него так мало товарищей. Просто удивительно, как мало людей бывает у них в «Холме». Артур с болезненной остротой сознавал, что он дикарь, что он одинок и слишком впечатлителен. Он легко краснел и из-за этого часто готов был от стыда сквозь землю провалиться. Он всей душой жаждал, чтобы поскорее наступило то время, когда он начнет работать вместе с отцом в «Нептуне». В шестнадцать лет он начнет знакомиться с делом, потом несколько лет учения, чтобы получить аттестат, – и наконец придет великий день, когда он станет компаньоном отца. Да, для этого стоит жить!

Слезы жгли ему глаза, и, выйдя из дому, он долго слонялся без цели. Парк усадьбы лежал перед ним – красивый газон с кустами золотистого ракитника, а дальше луг, отлого спускавшийся к лесистой долине. Деревья двумя рядами опоясывали усадьбу со всех сторон, скрывая

все, что могло бы испортить вид. Усадьба была расположена совсем близко от Слискейла, на холме, – потому-то ее так и называли. Но можно было подумать, что сотня миль отделяет ее от труб и шахт.

Дом был прекрасный – каменный, с прямоугольным фасадом, с портиком в стиле Георгианской эпохи, с более поздней пристройкой позади и обширными оранжереями. Весь фасад дома был увит аккуратно подстриженным плющом. Здесь ничто не бросалось в глаза – Ричард так ненавидел вычурность! – но повсюду царил безупречный порядок: трава на лужайке подстрижена, края ровные, будто ножом срезанные, и ни единая сорная травка не омрачала великолепия длинной аллеи. Повсюду преобладала белая краска, наилучшая белая краска; ею были выкрашены ворота, ограды, оконные рамы и деревянная обшивка парников. Так нравилось Ричарду. Он держал одного только работника – Бартли, но в «Нептуне» всегда находилось достаточно охотников пойти в усадьбу «поработать у хозяина».

Артур окинул мрачным взглядом открывшуюся перед ним красивую картину. Не пойти ли ему к Грэйс? Сначала он решил идти, потом подумал: «Нет». Всеми оставленный, безутешный, он ни на что не мог решиться. Потом, как всегда, перестал об этом думать и, словно спасаясь от необходимости принять решение, побрел обратно в переднюю, рассеянно оглядел висевшие на стенах картины, которые отец его так ценил. Каждый год отец покупал какую-нибудь картину, а то и две, через Винцента, крупного торговца предметами искусства в Тайн-касле, и тратил на это, по мнению Артура, подслушавшего обрывок разговора, баснословные суммы. Но Артур одобрял это, как одобрял все, что делал отец, и точно так же одобрял он его вкус. Да это и в самом деле красивые картины: большие, чудесно раскрашенные полотна Стона, Орчэрдсона, Уоттса, Лейтона, Холмэна Ханта. Особенно много картин Холмэна Ханта. Артуру все эти имена были знакомы. Он слышал, как отец говорил, что все они – будущие великие мастера. Особенно привлекала Артура одна картина – «Влюбленные в саду», в ней было столько очарования, она вызывала непонятную боль, что-то похожее на томление глубоко внутри.

Артур, хмурясь, ходил по передней, разглядывая все, что попадалось ему на глаза. Он пытался думать, разобраться во всем, что касалось этой ужасной забастовки, объяснить себе странную озабоченность отца и его отъезд к Тодду. Из передней он повернул в коридор, а пройдя его, вошел в уборную и заперся там. Наконец-то он в надежном укрытии.

Уборная была его обычным убежищем: здесь никто его не тревожил, здесь он переживал свои горести или предавался мечтам. Очень хорошо было мечтать, сидя здесь. Уборная чем-то напоминала ему церковь, придел собора, потому что это была высокая комната, в ней было прохладно, как в церкви, глянцеvitые обои разрисованы готическими арками. Здесь Артур испытывал такие же ощущения, как тогда, когда смотрел на картину «Влюбленные в саду».

Он опустил продолговатую лакированную крышку и уселся, упершись локтями в колени и обхватив голову руками. Им овладел внезапный приступ напряженного тоскливого беспокойства. Изнемогая от жажды утешения, он крепко зажмурил глаза. В горячем порыве, как это с ним часто бывало, он стал молиться: «Боже, сделай, чтобы сегодня закончилась забастовка, чтобы все рабочие опять стали работать для папы, чтобы они поняли, что не правы. Боже, Ты ведь знаешь, какой папа хороший, я люблю его и Тебя люблю. Так сделай же, чтобы рабочие поступали так же справедливо, как он, чтобы больше не бастовали, и сделай, чтобы я поскорее вырос и вместе с папой управлял „Нептуном“. Во имя Отца и Сына, аминь!»

IV

Вернувшись домой к пяти часам, Ричард Баррас застал ожидавших его Армстронга и Гудспета. Когда он вошел в дом, слегка хмурясь, неторопливый, холодный и решительный, внося с собой дух присущей ему суровой энергии, он застал их обоих в передней: они сидели рядышком на стульях, в молчании уставившись на пол. Это тетя Кэрри, в волнении и нерешительности, усадила их здесь. Джорджа Армстронга, как смотрителя шахты «Нептун», можно было бы, конечно, пустить в курительную комнату. Но Гудспет только помощник смотрителя, он раньше был простым штейгером, а до того – десятником по безопасности, к тому же он пришел прямо из шахты, в грязных сапогах, мокрых коротких штанах, в кожаной кепке и с палкой. Немыслимо было пустить его в комнату Ричарда, где он непременно наследит. Словом, тетя Кэрри была в тяжелом затруднении. Приняв наконец компромиссное решение, она оставила обоих в вестибюле.

Увидев этих двух людей, Ричард ничуть не изменил выражения лица. Их приход не был для него неожиданным. Все же сквозь холодную, непоколебимую важность на миг пробилося что-то неуловимое, слабый огонек мелькнул в глазах и тотчас потух. Армстронг и Гудспет встали. Короткое молчание.

– Ну что? – спросил Ричард.

Армстронг взволнованно закивал головой:

– Кончилось, слава богу!

Ричард выслушал это сообщение и глазом не моргнув; ему, казалось, была крайне неприятна легкая дрожь в голосе Армстронга. Он стоял чопорный, замкнутый, безучастный, но наконец шевельнулся, сделал приглашающий жест и повел посетителей в столовую. Здесь он подошел к буфету, огромному дубовому голландскому сооружению во вкусе барокко, на котором были вырезаны головки смеющихся детей, налил два стаканчика виски, а себе, позвонив, приказал подать чаю. Энн тотчас принесла чашку чая на подносе.

Все трое пили стоя. Гудспет одним привычным глотком выпил свое виски неразбавленным, Армстронг смешал его с большой порцией содовой и пил торопливыми, нервными глотками. Джордж Армстронг был человек в высшей степени нервный – постоянно волновался, огорчался из-за пустяков, легко выходил из себя и ругал рабочих. Он был чрезвычайно работоспособен только благодаря постоянному нервному напряжению, с которым работал. Этот человек среднего роста, с облысевшей уже макушкой, с изможденным лицом и мешками под глазами, обладал прекрасным баритоном и нередко пел на масонских концертах. Несмотря на свою вспыльчивость, он был очень популярен в городе. Армстронг был женат, имел пятерых детей и втайне ужасно боялся потерять службу. Как бы извиняясь за нервное дрожание рук, он заискивающе, отрывисто засмеялся:

– Видит бог, мистер Баррас, я очень рад, что кончилась эта дурацкая история... Трудно приходилось нам все это время. Я предпочел бы работать по две смены круглый год, чем снова пережить такие три месяца.

Баррас, не слушая его, спросил:

– Как все это вышло?

– Они устроили собрание в клубе. Выступил Фенвик, но его не хотели слушать. За ним – Гоулен... знаете, Чарли Гоулен, контрольный весовщик. Он встал и сказал, что ничего другого не остается, как выйти на работу. Потом Геддон напустился на них. Он специально приехал из Тайнкасла. Да, он с ними не церемонился, мистер Баррас, можете мне поверить. Объявил, что они не имели права выступать без согласия Союза, что Союз умывает руки во всем этом деле, назвал их кучей отпетых дураков (то есть он употребил другое слово, но его я в вашем присутствии повторить не смею, мистер Баррас) за то, что они все это затеяли на свой страх и

риск. Потом голосовали. Восемьсот с лишним голосов за то, чтобы приступить к работе. Семь – против.

Наступила пауза.

– Ну, что же дальше? – спросил Баррас.

– Потом они пришли к конторе целой толпой – Геддон, Гоулен, Огль, Хау, Диннинг, и вид у них был довольно-таки приниженный. Спрашивали вас. А я им передал то, что вы сказали: что вы не пустите к себе на глаза никого из них, пока они не начнут работать. Тут Гоулен произнес речь... он неплохой малый, хоть и пьяница. «Мы, – говорит, – побеждены и признаём это». Потом выступил Геддон с обычной профсоюзной трескотней. Развел туры на колесах, будто они через Гарри Нэджента поднимут вопрос в парламенте. Но это говорилось так, для отвода глаз. Одним словом, они совсем присмирели и спрашивают, можно ли выйти на работу завтра в первую смену. Я сказал, что мы поговорим с вами, сэр, и дадим им ответ в шесть часов.

Ричард допил чай.

– Значит, они хотят вернуться на работу. Так, так... – Казалось, Баррас находил создавшееся положение любопытным и хладнокровно его обдумывал.

Три месяца тому назад Баррас заключил с Парсоном договор на поставку коксующегося угля. Такие договоры – золотое дно, их трудно бывает добиться. С договором в кармане Баррас начал подготовительную разработку в районе Скаппер-Флетс шахты «Парадиз» и выемку коксующегося угля особого сорта из единственного места в «Нептуне», где этот уголь еще имелся.

Но тут рабочие забастовали, не считаясь ни с ним, ни с Союзом. Договора больше не существовало, он был брошен в огонь. Баррасу пришлось расторгнуть сделку. Он на этом потерял двадцать тысяч фунтов.

Застывшая на губах Ричарда слабая усмешка словно говорила: «Любопытно, клянусь богом!»

Армстронг спросил:

– Так вывесить объявление, мистер Баррас?

Ричард, сжав губы, с неожиданным неудовольствием глянул на услужливого Армстронга.

– Да, – сказал он сухо. – Пускай завтра приступают к работе.

Армстронг с облегчением вздохнул и сделал инстинктивное движение в сторону двери. Но Гудспет, неразвитому уму которого было доступно лишь очевидное, не трогался с места и мямлял шапку в руках.

– А с Фенвиком как же быть? – спросил он. – И ему приступать к работе?

– Это его дело.

– И потом, как насчет второго насоса? – не унимался Гудспет. Это был рослый, флегматичный мужчина с отвислой нижней губой и сонным лицом землистого цвета.

Ричард сделал нетерпеливый жест:

– Какой еще второй насос?

– А верхний, с напорной трубой, о котором вы говорили три месяца назад, когда ребята забастовали. Он выкачал бы много воды из Скаппер-Флетс... то есть выкачал бы ее скорее, и внизу, там, где работают, было бы меньше слякоти.

– Вы очень ошибаетесь, если думаете, что я буду продолжать выработку в Скаппер-Флетс. С коксовым углем придется подождать другого договора.

– Ваша воля, сэр. – Землистое лицо Гудспета густо покраснело.

– Ну, кажется, все! – Голос Барраса звучал уже, как всегда, спокойно и внушительно. – Можете передать, что я рад за рабочих, которые вернутся на работу. Все эти никому не нужные лишения – возмутительное безобразие.

– Обязательно передам, мистер Баррас, – с готовностью отозвался Армстронг.

Баррас молчал. Говорить было больше не о чем, и Армстронг и Гудспет вышли.

Некоторое время Баррас, размышляя, стоял на том же месте, спиной к камину, потом запер виски в буфет, подобрал упавшие на поднос два кусочка сахара и аккуратно уложил их обратно в сахарницу. Он страдал при виде какого-нибудь беспорядка, при одной только мысли, что напрасно пропадет кусок сахара. В его доме *ничего* не должно пропадать даром, он этого не потерпит. Эта черта Барраса сказывалась больше всего в мелочах: он не тратил лишней спички, карандаш исписывал до последнего дюйма, свет в доме полагалось выключать в строго определенное время, из обмылков прессовались новые бруски мыла, горячую воду экономили и даже топили очень скупно, угольным мусором. При звоне разбившейся чашки или блюдца кровь бросалась Баррасу в голову. Главной заслугой тети Кэрри, по его мнению, была строгая бережливость, с какой она вела хозяйство.

Он стоял не двигаясь, разглядывая свои белые холеные руки. Потом вышел из комнаты, медленно поднялся наверх, не заметив Артура, чье обращенное к нему робкое лицо белело, как луна, в полутьме передней, и вошел в комнату жены:

– Гарриэт!

– Здравствуй, Ричард.

Она вязала, сидя в постели, с тремя подушками за спиной и одной у ног. Ей укладывали за спину три подушки, потому что кто-то сказал, что три подушки – самое удобное. А вязать ей предписал для успокоения нервов молодой доктор Льюис, ее новый врач. Когда вошел муж, Гарриэт перестала вязать и подняла глаза. У нее были густые черные брови, а под глазами коричневые тени – типичный признак неврастении.

Гарриэт улыбнулась, словно прося извинения, и дотронулась до своих распущенных лоснящихся волос, обрамлявших бледное лицо:

– Ты извинишь, Ричард? У меня опять был приступ жестокой головной боли. Пришлось Кэролайн расчесывать мне щеткой волосы.

Она снова улыбнулась привычной улыбкой страдальцы, меланхолической улыбкой тяжело больного человека. У нее болела поясница, у нее был больной желудок, больные нервы. Временами у нее бывали отчаянные головные боли, от которых не помогал и туалетный уксус, не помогало ничего, кроме осторожного растирания головы, – это лежало на обязанности Кэролайн. Тетя Кэрри выстаивала на ногах битый час, тихонько, медленно водя щеткой по волосам Гарриэт. Никто не мог доискаться подлинной причины страданий Гарриэт. Никто. Она измучила всех докторов в Слискейле – Скотта, Ридделя и Проктора; она побывала у многих специалистов в Тайнкасле; в отчаянии обращалась к лечившим травами, к гомеопату, к специалисту по физиотерапии, который обертывал ее какими-то чудодейственными электрическими бинтами. Каждый шарлатан вначале казался ей спасителем. «Наконец-то настоящий врач!» – объявляла она. Но все они, как и Риддель, Скотт, Проктор и специалисты Тайнкасла, оказывались в конце концов невеждами. Впрочем, Гарриэт не унывала. Она сама изучала свои болезни, читала терпеливо, упорно и систематически множество книг, трактующих о тех недугах, которые она у себя находила. Увы, все было напрасно. Ничто, ничто не помогало. И не потому, что Гарриэт не принимала лекарств, – она принимала все лекарства, какие только существуют; ее спальня была уставлена аптечными склянками и банками, дюжинами бутылок с лекарствами – укрепляющими, болеутоляющими, слабительными, успокаивающими спазмы, разными мазями, – всем, что ей прописывалось докторами за последние пять лет. О Гарриэт можно было смело сказать, что она никогда не выбросила ни одного лекарства. Из некоторых бутылочек она приняла лекарство только по одному разу, – Гарриэт была настолько опытна, что уже после первой ложки какого-нибудь снадобья говорила иногда: «Уберите это. Я *знаю*, что оно мне не поможет». И бутылка отправлялась на полку.

Это было ужасно. Но Гарриэт отличалась терпением. Она уже давно не вставала с постели, тем не менее аппетит сохранила прекрасный. По временам она кушала прямо-таки великолепно, – и это тоже вызывало недоумения: с желудком, видно, было неблагополучно,

ее так мучили газы! Но, несмотря на все это, Гарриэт была кротка; никогда никто не слышал, чтобы она спорила из-за чего-нибудь с мужем, она всегда оставалась покорной и доброй женой. Она никогда не уклонялась от интимных обязанностей жены, она всегда была к услугам своего супруга – в постели. У нее было пышное белое тело и мина святой. Что-то в ней странным образом напоминало корову. Она была очень благочестива, – может быть, это была священная корова.

Баррас смотрел на нее словно издалека. Как он, собственно, относился к ней? Его взгляд ничего не выдавал.

– А теперь голова болит меньше?

– Да, Ричард, немножко меньше. Боль не совсем прошла, но стало лучше. После того как Кэролайн расчесала мне волосы, я приняла ту микстуру с валерьянкой, что прописал доктор Льюис. Я думаю, это от нее мне стало легче.

– Хотел привезти тебе из Тайнкасла винограду, да забыл.

– Спасибо, Ричард. – (Просто удивительно, как часто Ричард забывал о винограде. Но доброе намерение уже само по себе что-нибудь да значит.) – Ты, конечно, побывал у Тоддов?

Что-то жесткое едва заметно мелькнуло в лице Ричарда. Жаль, что Артур, все еще занятый решением загадки, не мог видеть это выражение.

– Да, я был у них. Там все здоровы. Гетти еще похорошела и всецело занята предстоящим днем рождения: ей на будущей неделе минет тринадцать. – Он замолчал и направился к двери. – Да, знаешь, забастовка прекращена. Рабочие завтра приступают к работе.

Маленький рот Гарриэт округлился в виде буквы «О». Она, словно обороняясь, прижала руку к груди, прикрытой фланелью.

– О Ричард, как я рада! Отчего же ты мне сразу не сказал? Это чудесно. Какое облегчение! Уже приоткрывая дверь, Ричард остановился.

– Я, вероятно, приду к тебе ночью, – сказал он и вышел.

– Хорошо, Ричард.

Гарриэт легла на спину, с лица ее еще не сошло выражение радостного удивления. Она достала листок бумаги и серебряный карандаш, украшенный на конце топазом, записала аккуратным почерком: «Не забыть сказать д-ру Льюису, что сердце сильно забилося, когда Ричард сообщил приятную новость» – и после некоторого размышления подчеркнула слово «сильно»; потом взяла вязанье и мирно принялась вязать.

V

Было уже совсем темно, когда Армстронг и Гудспет вышли из больших белых ворот усадьбы в аллею высоких буков – местные жители называли ее Слус-Дин, и дальше аллея переходила в Хедли-роуд, дорогу к городу. Некоторое время они шли молча и врозь, так как не слишком любили друг друга, но потом Гудспет, уязвленный резкостью, с которой хозяин его осадил, злобно пробормотал:

– Он умеет человека с грязью смешать! Ну и каменная же душа, дьявол его возьми! Не пойму я его. Никак не пойму.

Армстронг усмехнулся в темноте. Он тайно презирал Гудспета, как человека без всякого образования, человека, который пробил себе дорогу скорее упорством, чем подлинными заслугами. Гудспет часто раздражал, даже оскорблял Армстронга своей грубой прямоотой и физическим превосходством, – и Армстронгу приятно было видеть его сейчас униженным.

– Что ты хочешь этим сказать? – переспросил он Гудспета, притворившись непонимающим.

– Да то, что слышишь, черт возьми! – сердито отрезал Гудспет.

– Он знает, что делает.

– Еще бы! Свою выгоду понимает. А мы – свою. Да ведь от такого пощады не жди. А слышал ты, как он сказал? – Гудспет с горечью передразнил Барраса: – «Все эти напрасные, никому не нужные лишения». Комедия, да и только!

– Нет, нет, – торопливо возразил Армстронг. – Это он искренне так думает.

– Да, как же, искренне, будь он проклят! Скареднее его нет человека в Слискейле. Он теперь так и кипит злобой, что упустил договор. И вот что я тебе скажу, раз уж к слову пришлось: я очень рад, что с разработкой Скаппер-Флетс дело не выгорело. Я хоть и держал язык за зубами, а в душе согласен с Фенвиком насчет этой проклятой воды.

Армстронг метнул на Гудспета быстрый неодобрительный взгляд:

– Не дело так говорить, Гудспет.

Наступила короткая пауза. Потом Гудспет, насупившись, возразил:

– Во всяком случае, Скаппер-Флетс – ужасное место.

Армстронг ничего не ответил. Они молча шагали по Хедли-роуд, затем по Каупен-стрит, мимо Террас. Когда они завернули за угол, яркий свет и гул голосов из трактира «Привет» заставили обоих обернуться. Армстронг, явно желая переменить тему, заметил:

– Сегодня трактир полон.

– Битком набит, – подтвердил Гудспет с прежней угрюмостью. – Эмур опять начал отпущать в долг. Сегодня впервые за две недели вытащил свою грифельную доску.

Не говоря больше ни слова, оба отправились вывешивать объявления.

VI

В трактире «Привет» становилось все шумнее. Помещение было полно народу, набито до того, что голова шла кругом от табачного дыма, криков, яркого света и пивных испарений. Берт Эмур, без пиджака, стоял за стойкой, за ним на стене висела большая грифельная доска, на которой он мелом записывал, сколько выпито посетителями в долг. Берт был не дурак: последние две недели он, несмотря на мольбы и проклятия, всем отказывал в кредите. А сегодня, когда субботняя получка стала чем-то близким и вполне реальным, сразу же переменил тактику: трактир был открыт и кредит посетителям тоже.

– Налей-ка нам еще, Берт, дружище!

Чарли Гоулен с силой стукнул кружкой о прилавок и потребовал новую круговую. Чарли не был пьян, он никогда не пьянел по-настоящему, – впитывая вино, как губка, он обливался потом, лицо у него бледнело, принимая цвет сырой телятины, но вдрызг пьяным его никогда никто не видел. Кое-кто из толпившихся вокруг него были уже сильно навеселе, а больше всех – Толли Браун, старый Риди и Боксер Лиминг. Боксер был безобразно пьян. Этот неотесанный, грубый малый с красной, словно расплющенной физиономией, плоским носом и одним ухом иссиня-белым, как цветная капуста, в юности действительно был боксером и выступал в Сент-Джеймс-холле под эффектной кличкой «Чудо-мальчик из шахты». Но водка и разные другие вещи погубили его. Теперь он снова работал в шахте, не был больше ни мальчиком, ни чудом. От тех золотых дней остались лишь буйный, хоть и добродушный нрав, легкая хромота и сильно изуродованное лицо.

Чарли Гоулен, неизменный председатель на всех выпивках в трактире, снова постучал кружкой о стол. Ему не нравилось, что здесь сегодня не чувствуется беззаботного веселья, и хотелось восстановить былой уют и дружескую атмосферу вечеров в «Привете». Он сказал:

– Со многим нам приходилось мириться за последние три месяца. А все же, ребята, унывать не будем. Ничего не стоит та душа, которая не способна никогда разгуляться!

Его свинные глазки так и бегали вокруг, он ожидал обычного шумного одобрения. Но на всех лицах читалась лишь угрюмая усталость. Вместо одобрения Чарли встретил взгляд Роберта Фенвика, устремленный на него с саркастическим выражением. Роберт стоял на своем обычном месте, в самом конце прилавка, и спокойно пил с таким видом, словно ничто его здесь не интересовало.

Гоулен поднял кружку:

– Выпьем, Роберт, дружище! Тебе следует сегодня хорошенько промочить нутро. Ведь завтра ты порядком промокнешь снаружи.

Роберт со странной сосредоточенностью вглядывался в лицо Гоулена, точно налитое пивом.

– Все мы рано или поздно очутимся под водой, – сказал он.

В толпе раздались крики:

– Заткни глотку, Роберт!

– Помалкивай, парень! Довольно поговорил на собрании!

– Уж мы наслушались об этом за последние три месяца!

Тень печали и усталости легла на лицо Роберта. Он отвечал на все лишь огорченным взглядом:

– Ладно, товарищи. Делайте, как знаете. Больше ничего говорить не стану.

Гоулен хитро осклабился:

– Если ты боишься спуститься в «Парадиз», ты бы так прямо и говорил.

– Заткни пасть, Гоулен, – вступился Лиминг. – Мелешь языком, как баба! Роберт со мной в одной бригаде. Он отличный забойщик и работает на совесть. Он знает проклятую шахту лучше, чем ты – собственное брюхо.

Внезапно наступила тишина, все затаили дыхание, ожидая, не начнется ли драка. Но Чарли никогда в драки не вступал. Он пьяно ухмылялся. Напряжение зрителей сменилось разочарованием.

В этот момент дверь с улицы распахнулась. Вошел Уилл Кинч и как-то нерешительно стал проталкиваться к прилавку:

– Дай в долг кружку пива, Берт, ради бога! Хотя бы одну, иначе не выдержу...

Внимание толпы снова пробудилось и сосредоточилось на Уилле.

– Что такое? Что за беда с тобой приключилась, Уилл?

Уилл откинул жидкие волосы со лба, взял с прилавка кружку пива и повел вокруг блуждающим взглядом.

– Бед целая куча, ребята. – Он плюнул так, словно у него был полон рот грязи, затем стремительно заговорил: – С Элис моей плохо, ребята, – воспаление легких. Жена хотела сварить для нее мясной бульон. Прихожу я к Ремеджу четверть часа тому назад. Ремедж сам стоит за прилавком – брюхо жирное выставил и стоит. «Мистер Ремедж, – говорю я самым вежливым образом, – не отпустите ли мне каких-нибудь обрезков для моей девочки, она очень больна. А деньги я отдам в субботнюю получку, обязательно отдам». – Тут губы Уилла побелели, он весь затрясся, но стиснул зубы и, сделав над собой усилие, продолжал: – И что же вы думаете, ребята? Он смерил меня глазами с головы до ног и с ног до головы! «Никаких обрезков я тебе не дам», – говорит он этими самыми словами. «Уж будьте так добры, мистер Ремедж, – говорю, а у самого сердце упало. – Уделите нам какой-нибудь кусочек. Забастовка кончилась, через две недели обязательно будет получка, и я вам заплачу, как бог свят...» – Тут Уилл остановился, чтобы перевести дух. – Он ничего не ответил и опять так же на меня посмотрел... Потом говорит, словно перед ним собака, а не человек: «Ничего я тебе не дам, ни косточки. Вы – позор для города, ты и тебе подобные. Бросаете работу из-за ерунды, а потом приходите попрошайничать у порядочных людей. Убирайся вон из моей лавки, пока я тебя не вышвырнул отсюда...» И я ушел, ребята...

Рассказ Уилла был выслушан в полном молчании. Первым встрепенулся Боб Огль.

– Клянусь богом, это уж слишком! – простонал он.

Тут вскочил пьяный Боксер и крикнул:

– Да, слишком! Мы этого так не оставим!

Все заговорили разом, поднялся шум. Боксер уже прокладывал себе дорогу в толпе:

– Не стерплю я этого, товарищи! Сам пойду к этому ублюдку Ремеджу. Пойдем, Уилл! Ты получишь для девчонки самый лучший кусок, а не какие-то паршивые обрезки! – Он дружески ухватил Кинча за руку и потащил его к двери. Толпа сомкнулась вокруг обоих, выражая одобрение, и хлынула вслед за ними на улицу.

Трактир вмиг опустел. Это было просто чудо – никогда он не пустел так быстро и при возгласе хозяина: «Джентльмены, закрываем!» Минуту назад комната была битком набита – сейчас в ней оставался один только Роберт. Он стоял и смотрел на ошеломленного Эмура все с тем же мрачным, разочарованным видом... Выпил еще кружку. Наконец ушел и он.

На улице к толпе присоединилась большая группа молодежи, уличные мальчишки, зеваки. Не зная, что тут происходит, они чуяли злое возбуждение толпы. Раз Боксер несется вперед с воинственным видом, значит будет драка. И все устремились на Каупен-стрит. Юный Джо Гоулен затесался в самую гущу толпы.

Завернули за угол и очутились на Лам-стрит, но здесь, у лавки Ремеджа, их ожидало разочарование. Большая лавка была уже заперта и, пустая, неосвещенная, являла взорам лишь

холод опущенных железных штор и вывеску на фасаде: «Джеймс Ремедж. Мясная». Даже окна нельзя было разбить!

– Заперто! – раздался рев Боксера. Водка бушевала в его крови. Он не отступит, нет! Ни за что! Найдутся другие лавки тут же, рядом с Ремеджем, и без железных штор, – например, лавка Бэйтса или Мэрчисона, бакалейщика, где дверь была просто заперта на засов с висячим замком. Боксер заорал снова: – Ничего, ребята, не сдадимся, – вместо Ремеджа примемся за Мэрчисона!

Разбежавшись, он поднял ногу и тяжелым сапогом изо всей силы ударил по замку. В эту минуту кто-то из напиравшей сзади толпы швырнул кирпичом в окно. Стекло разлетелось вдребезги. Это решило все: звон разбитого стекла послужил как бы сигналом к разгрому лавки.

Толпа налегла на дверь, вышибла ее, ворвалась в лавку. Многие были пьяны, и все они уже несколько месяцев не видели настоящей еды. Толли Браун схватил окорок и сунул его под мышку. Старик Риди завладел несколькими жестянками компота. Боксер, совершенно забыв о больной дочке Уилла Кинча, возбуждавшей в нем только что пьяную слезливую жалость, выбил втулку у бочонка с пивом. Несколько женщин из гавани, привлеченные шумом, вслед за мужчинами протиснулись внутрь и начали панически хватать все: пикули, желе, мыло, – все, что попадалось под руку; они были слишком боязливы, чтобы выбирать, и попросту хватали и хватали, с лихорадочной поспешностью пряча все под свои шали. Уличный фонарь снаружи освещал эту картину холодным, резким светом.

О кассе вспомнил Джо Гоулен. Съестное его не интересовало – он, как и его папаша, был сыт до отвала, – а вот выручка могла пригодиться.

Встав на четвереньки, он, как ящерица, проскользнул среди ног толпившихся в лавке людей, заполз за конторку и отыскал денежный ящик. Не заперт! Злорадно посмеиваясь над беспечностью старого Мэрчисона, Джо сунул руку в кассу, загреб полную горсть серебра и преспокойно высыпал его к себе в карман. Затем, поднявшись, шмыгнул в дверь и пустился наутек.

В ту минуту, когда Джо выбегал из лавки, туда вошел Роберт, вернее – стал на пороге. Выражение тревоги на его лице медленно уступало место ужасу.

– Что вы делаете, товарищи?! – В голосе его звучала мольба: этот бунт, направленный по ложному пути, больно поразил его. – Ведь вы попадете в беду!

На него не обратили ни малейшего внимания. Он повысил голос:

– Говорю вам, прекратите это! Неужели вы не понимаете, дураки вы такие, что хуже ничего нельзя было придумать?! После этого нам уже никто не будет сочувствовать. Уходите!

Но его никто не слушал.

Судорога исказила лицо Роберта. Он двинулся было на толпу, но в этот миг шум за спиной заставил его обернуться, так что свет фонаря упал на его лицо. Полиция! Роддэм из Гаванского участка и новый сержант со станции.

– Фенвик! – громко воскликнул Роддэм, сразу узнав Роберта, и схватил его за плечо.

На этот крик внутри лавки ответили еще более громкими криками:

– Полиция! Бегите, ребята, полиция!

И живая лавина неразлично смешавшихся тел хлынула из лавки. Роддэм и сержант не пытались ее задержать. Они стояли в какой-то растерянности и дали всем уйти. Затем, все еще держа Роберта за плечо, Роддэм вошел в лавку.

– А вот и еще один, сержант! – крикнул он вдруг с торжеством.

Среди разграбленной, опустевшей лавки, беспомощно покачиваясь, сидел верхом на пивном бочонке Боксер Лиминг и, плавая в блаженстве, одним пальцем затыкал отверстие. Он был слеп и глух ко всему, что происходило вокруг.

Сержант оглядел Боксера, потом лавку, потом Роберта.

– Здесь нешуточное дело, – сказал он сурово, официальным тоном. – Вы – Фенвик? Тот самый, зачинщик забастовки?

Роберт твердо выдержал его взгляд. Он возразил:

– Я ничего не сделал.

– Да, конечно! Ничего не сделали!

Роберт открыл было рот, хотел объяснить, но в ту же минуту почувствовал, как безнадежна эта попытка. Он ничего не ответил сержанту, покорился. И его вместе с Боксером отвели в участок.

VII

Пять дней спустя, часов около четырех, Джо Гоулен беззаботно слонялся по Скоттсвуд-роуд, одной из улиц Тайнкасла, обследуя те окна, на которых висели объявления о сдаче комнат. Тайнкасл, этот полный движения и шума город севера с его кипучей суетой, светло-серыми домами, звоном трамваев, топотом ног, стуком молотков на верфи, милостиво поглотил Джо. Тайнкасл, всего на восемнадцать миль отстоявший от его родного Слискейла, всегда привлекал Джо как город больших возможностей и приключений. Джо выглядел прекрасно: краснощекий, кудрявый, в ослепительно начищенных ботинках и с веселой миной человека, который знает, чего хочет. Однако при такой блестящей внешности Джо был окончательно на мели. Сбежав из дому, он успел прокутить те два фунта серебром, что украл у Мэрчисона, истратив их на развлечения, гораздо более легкомысленные, чем это можно было предположить по его добропорядочному виду: Джо побывал на хорах мюзик-холла «Эмпайр», в баре Лоу и тому подобных местах. Он покупал пиво, папиросы, самые красивые голубые открытки. А теперь, честно истратив последний шестипенсовик на стирку и наведение лоска, Джо подыскивал приличное жилье.

Он прошел по Скоттсвуд-роуд, мимо широких железных решеток скотопригонного рынка, мимо «Герцога Кумберлендского», через Пламмер-стрит и Эльсвикскую Восточную террасу. День был серый, без солнца, но сухой; на улицах царил веселое оживление, где-то внизу, на станции, внушительно свистел прибывающий поезд, и ему вторил с реки густой и низкий звук паровой сирены. Кипевшая вокруг жизнь возбуждала Джо. Мир представлялся ему чем-то вроде огромного, великолепного футбольного мяча у его ног, и он готовился с азартом гонять его.

Пройдя Пламмер-стрит, Джо остановился перед домом с вывеской: «Меблированные комнаты. Хорошие постели. Только для мужчин». Некоторое время он в раздумье созерцал дом, потом, отрицательно покачав кудрявой головой, продолжал свою прогулку. Через минуту с ним поравнялась какая-то девушка, шедшая быстро в том же направлении, и обогнала его. У Джо глаза разгорелись, все его тело напряглось.

«Славная штучка, честное слово!» Маленькие ножки с тонкой щиколоткой, стройная талия, красивые бедра, и голова поднята гордо, как у королевы. Глаза Джо жадно следили за ней. Девушка перешла улицу и, взбежав по ступенькам, торопливо вошла в дом № 117/А на Скоттевуд-роуд.

Джо, как завороченный, остановился и облизал внезапно пересохшие губы. На окне дома 117/А висело объявление о сдаче комнаты. «Черт возьми!» – вырвалось у Джо. Он застегнул куртку и, решительно перейдя улицу, дернул звонок.

Открыла та самая девушка. Без шляпы она показалась Джо как-то ближе и милее. Она была даже красивее, чем он ожидал: на вид лет шестнадцать, тоненький носик, ясные серые глаза, восковое личико, на котором недавняя прогулка вызвала свежий румянец. Ушки у нее были крохотные и плотно прилегали к голове. Но лучше всего был рот – так мысленно решил Джо, – большой, не яркий, а нежно-розовый, с умопомрачительной впадинкой на верхней губе.

– Чего вам? – спросила она резко.

Джо скромно ей улыбнулся, опустил глаза и, сняв шапку, мял ее в руках. Никто лучше Джо не умел разыгрывать добродетельного простака, – он это делал в совершенстве.

– Извините за беспокойство, мисс. Я ищу комнату.

Ответной улыбки Джо не дождался. Девушка вздернула губку и недовольно посмотрела на него. Дженни Сэнли не нравилось, что мать вздумала пустить жильцов, хотя бы даже одного-единственного, в лишнюю комнату наверху. Она считала это «вульгарным», а «вульгарность» была в глазах Дженни непростительным грехом.

Она обернула на себе блузку и, сунув руки за изящный лакированный пояс, сказала с некоторым высокомерием:

– Что ж, войдите, пожалуй.

Ступая с почтительной осторожностью, Джо прошел за ней в узкий коридор и тотчас уловил запах голубей и их воркование. Он поднял голову и посмотрел вверх, но голубей не заметил. Выходившая на площадку внутренней лестницы дверь ванной комнаты была открыта, и виднелось развешанное на веревке белье – длинные черные чулки и какие-то белые принадлежности туалета. «Это ее вещи», – с восхищением подумал Джо, но отвел глаза раньше, чем девушка успела покраснеть. Дженни все же покраснела от стыда за такое упущение, и голос ее вдруг прозвучал сердито, когда она, тряхнув головой, объявила:

– Ну вот, тут, если хотите знать. Задняя комната.

Он вошел вслед за ней в эту «заднюю комнату» – маленькую, грязную, со следами пребывания множества жильцов, набитую старой ломаной мебелью с волосатыми сиденьями; повсюду дешевые иллюстрированные журналы, сувениры из Уитли-Бэй, мешочки с кормом для голубей. На каминной доске важно восседали два домашних голубя. У огня, тихонько покачиваясь в скрипучем кресле-качалке, сидела в ленивой позе, с журналом «Домашняя болтовня» неряшливо одетая женщина, большеглазая, с целой копной волос, заколотых на макушке.

– Вот, ма, тут пришли насчет комнаты. – Дженни с надменным видом села на диван со сломанными пружинами и схватила измятый журнал, всячески стараясь показать, что не желает больше принимать никакого участия в этом деле.

Миссис Сэнли продолжала безмятежно покачиваться. Разве только удар грома, возмущающий конец света, мог заставить Аду Сэнли переменить удобное положение на неудобное. Она постоянно заботилась о своих удобствах: то снимет туфли, расстегнет корсет, то примет немного соды, чтобы не было отрыжки, то нальет себе чашку чаю, то присядет отдохнуть и почитает газету, пока закипает чайник. Это была жирная, благодушная, мечтательная неряха. Иногда она принималась пилить мужа, но большей частью пребывала в беззаботном равнодушии ко всему окружающему. В молодости Ада была прислугой «в одном почтенном семействе», как она всегда усиленно подчеркивала. Она любила смотреть на молодой месяц, была романтична и суеверна: никогда не надевала ничего зеленого, никогда не проходила под лестницей и, если просыпала соль, непременно бросала щепотку через левое плечо. Она обожала увлекательные романы, особенно такие, где в конце концов героине-брюнетке удастся «поймать» героя. Аде хотелось разбогатеть – она постоянно участвовала в разных конкурсах, главным образом на шуточные стишки, и всегда надеялась выиграть кучу денег. Но стихи Ады были безнадежно плохи. Ее часто осеняли неожиданные идеи (в семье их называли «мамины фантазии»): переменить обои в комнате, или обить диван красивым розовым плюшем, или заново эмалировать ванну, или уехать в деревню, или открыть гостиницу либо галантерейный магазин, или даже написать рассказ, – она была убеждена, что у нее «талант». Но ни одно из этих намерений Ады никогда не осуществлялось. Ада никогда не покидала надолго своей качалки. Ее супруг Альф говаривал кротко: «Боже мой, Ада, какая ты неугомонная!»

– О, а я думала, что это из клуба, – сказала она в ответ на слова Дженни. Затем, помолчав, спросила: – Так вам нужна комната?

– Да, мэм.

– Мы сдадим только одинокому молодому человеку. – Разговаривая с кем-нибудь в первый раз, Ада всегда принимала томный вид, но томность эта очень быстро с нее соскакивала. – Наш последний жилец выехал неделю тому назад. Вы хотите комнату с частичным пансионом?

– Да, мэм, если это вас не затруднит.

– Вам придется обедать с нами за общим столом. Семья у нас из шести человек: я, муж, Дженни – вот эта самая, ее целый день дома не бывает, она служит у Слэттери, – потом Филлис,

Клэрис и Салли, самая младшая. – Ада помолчала и оглядела Джо, на этот раз пытливо. – А между прочим, вы кто такой? И откуда?

Джо смиренно потупил глаза. Он вдруг струсил: он вошел сюда просто так, шутки ради, чтобы посмотреть, что из этого выйдет, но теперь почувствовал, что должен снять у них комнату, что это ему просто необходимо. Эта Дженни – прелесть, лакомый кусочек, она его прямо-таки с ума свела. Но что отвечать, черт возьми?! Вихрь подходящих к случаю выдумок пронесся у него в голове, но он сразу же все их отверг. Где у него багаж, где деньги, чтобы дать задаток? Дьявольское положение! Его даже пот прошиб, и он уже был близок к отчаянию, как вдруг его осенила мысль, что самое разумное – сказать правду. «Да, да, правду, – ликовал он внутренне, – но, конечно, не всю правду, а что-нибудь похожее на правду». Он вскинул голову и, посмотрев Аде прямо в глаза, сказал с застенчивой прямоотой:

– Я бы мог наврать вам с три короба, мэм, но лучше уж скажу вам всю правду: я сбежал из дому.

– Господи помилуй! Слыхано ли что-нибудь подобное!

Журнал упал на колени, даже качалка на этот раз остановилась. Миссис Сэнли и Дженни обе с интересом уставились на Джо. Лучшими традициями романтики повеяло в этой затхлой комнате.

Джо продолжал:

– Мне страшно тяжело жилось и стало уже невмоготу. Мать умерла, а отец стегал меня ремнем так, что я едва на ногах держался. У нас в шахтах бастовали и все такое... Я... я голодал. – Глаза Джо выражали мужественно сдерживаемое волнение. «Замечательно! Замечательно придумано! Теперь я их окончательно приручил!»

– Значит, матери у вас нет? – спросила Ада чуть слышно.

Джо молча покачал головой. Все, что нужно, было сказано.

Ада с возрастающим сочувствием рассматривала своими большими кроткими глазами этого чистенького, аккуратно причесанного и красивого юношу. «Он немало узнал горя, бедняга, – думала она, – и к тому же он прехорошенький». Ей нравились его блестящие карие глаза и кудрявые волосы. Но кудри кудрями, а квартирная плата квартирной платой – одно другого не заменит, конечно... А тут еще приходится думать об уроках музыки для Салли... Ада снова принялась покачиваться. При всей своей лени и беспечности Ада Сэнли была далеко не глупа. Она взяла себя в руки.

– Послушайте, – она перешла на деловой тон, – ведь вы же не можете жить у нас из милости. Вам следует найти себе работу, постоянную работу. Вот, кстати, мой Альф сегодня говорил, что в Ерроу, на чугунолитейном заводе Миллингтона, набирают рабочих. Знаете, это по дороге в Плэтт-лейн. Попробуйте там счастья. Если удастся, приходите опять сюда. Если нет – не приходите.

– Хорошо, мэм.

Джо сохранял мину строгой добродетели до тех пор, пока не вышел от Сэнли, но тут он в экзальтации большими прыжками помчался через улицу.

– Эй ты, рожа! – Он сгреб за воротник проходившего мальчика-посыльного. – Укажи дорогу к заводу Миллингтона или я сверну тебе шею!

Джо чуть не бегом направился в Ерроу; а идти пришлось далеко, очень далеко. На заводе он лгал бесстыдно и вдохновенно и показал мастеру свои мускулы. Ему повезло: здесь очень нужны были рабочие руки, и он был принят в качестве подручного пудлинговщика за двадцать пять шиллингов в неделю. По сравнению с заработком на шахте это было целым состоянием. И к тому же здесь, в Тайнкасле, есть Дженни, Дженни, Дженни!

Он отправился обратно на Скоттсвуд-роуд, стараясь идти медленно, обуздывая себя увещаниями, что надо быть осмотрительным, ничего не делать наспех, налаживать все посте-

пенно. Но когда он оказался снова в «задней комнате» у Сэнли, его ликование бурно прорывалось сквозь тонкую броню осторожности.

Вся семья была в сборе, только что отпили чай. Ада сидела, развалившись, во главе стола, рядом с ней – Дженни. Дальше, одна за другой, три младшие дочери: тринадцатилетняя Филлис, апатичная блондинка, вылитый портрет матери, Клэрис, длинноногая брюнетка одиннадцати с половиной лет, – волосы у нее были перевязаны красивой алой лентой с коробки шоколада, принадлежавшей Дженни, – и, наконец, Салли, забавное десятилетнее существо с таким же большим ртом, как у Дженни, и с сердитыми черными глазами, смотревшими на людей пристально и настороженно. В конце стола сидел Альфред, муж Ады, отец четырех девочек, глава семьи, – невзрачный, сутулый мужчина с одутловатым лицом, водянистыми глазами и жиденькими желто-бурыми усами. У него было растяжение шейных мускулов, и поэтому он не носил воротничка. Альфред был по профессии маляр и в свое время немало наглотался свинцовых белил, пока накладывал их на фасады тайнкаслских домов. Свинцу он был обязан землистым цветом лица, сильными болями в желудке и синеватыми деснами. Но в растяжении шейных мускулов виновато было не ремесло маляра, а голуби. Альф был страстным любителем голубей, сизых, красноватых, пестрых, прелестных премированных домашних голубей. И, выпуская голубей, следя за их полетом в небесной синеве, Альф постепенно искривил себе шею.

Оглядев всех, Джо радостно воскликнул:

– Меня приняли! Завтра начинаю работать. Двадцать пять монет в неделю!

Дженни демонстративно не узнавала его. Зато Ада с обычной томностью выразила удовольствие:

– Вот видите, я же вам говорила! Мне вы будете платить пятнадцать в неделю, так что у вас будет оставаться чистых десять. Конечно, только вначале, потому что вам скоро дадут прибавку. Пудлинговщики хорошо зарабатывают.

Она тихонько зевнула в руку, потом кое-как очистила местечко на загроможденном столе:

– Садитесь и закусывайте. Клэри, принеси из кухни чашку и блюдечко и будь умницей – сбегай к миссис Гризли, возьми на три пенса ветчины, да смотри, чтобы она тебя не обвесила. Для первого раза надо угостить вас чем-нибудь повкуснее. Альф, это мистер Джо Гоулен, наш новый жилец.

Альф перестал медленно жевать намоченный в чае сухарь и приветствовал Джо коротким, но выразительным кивком, Клэри влетела с вымытой чашкой и блюдцем. Джо налили черного, как чернила, чаю, затем появилась и ветчина и пол булки, а Альфред торжественно подал ему через стол горчицу.

Джо уселся рядом с Дженни на волосяном диване. Его опьяняло соседство этой девушки и мысль о том, как замечательно у него все вышло. Дженни была очаровательна, и никогда еще он не испытывал такого сильного, такого властного желания. Он изо всех сил старался понравиться, пленить всех, – но не Дженни, конечно. О господи, конечно нет! Джо знал, как надо действовать. Он улыбался своей открытой сердечной улыбкой, он болтал, втянув всех в непринужденный разговор, придумывал анекдоты из своей прошлой жизни; он говорил Аде комплименты, шутил с девочками, он даже рассказал одну вполне приличную и очень забавную историю, которую однажды слышал на концерте, устроенном обществом «Надежда». Он не то чтобы по-настоящему состоял в обществе «Надежда», нет, просто вступил накануне концерта, а наутро после него сразу же отмежевался от этого благочестивого братства. Рассказ имел успех у всех, за исключением Салли, которая отнеслась к нему презрительно, и Дженни, чье высокомерное равнодушие ничем нельзя было поколебать. Зато Ада покатывалась со смеху, упершись руками в жирные бока и роняя шпильки из прически:

– И Боне нашел муху в своей ежевичной настойке! Ну и история, я вам доложу, мистер Гоулен!

– Пожалуйста, зовите меня просто Джо, миссис Сэнли. Смотрите на меня как на члена вашей семьи.

Он начинает их завоевывать. О, он скоро всех их завоюет! Восторг ударил ему в голову, как вино. Да, это верный путь, он сумеет добиться всего, он сумеет ухватиться за жизнь, выжать из нее все, что можно. Он пойдет далеко, будет иметь все, чего ему захочется, все, все, – вот увидите!

Потом Альф предложил Джо посмотреть, как он кормит своих голубей. Они вышли во двор; здесь жемчужно-серые птицы чистили перья клювом и то высовывали головки из самодельной голубятни Альфа, то прятались снова, деликатно поклевывая корм. Альф, который при жене был тише воды, ниже травы, теперь сразу преобразился в героического мужчину и высказывал веские мнения не только о голубях, но и о пиве, патриотизме и о шансах Спрингминта на скачках в Дэрби. С Джо он был приветлив и обращался с ним, как с младшим товарищем. Но Джо жаждал вернуться туда, где была Дженни. Докурив папиросу, он извинился и поспешил обратно в дом.

Дженни была одна в угловой комнате. Она по-прежнему сидела на диване, углубившись в чтение журнала.

– Извините, – пролепетал Джо. – Я хотел попросить, чтобы вы указали мне мою комнату.

Она даже не опустила журнал, который держала, изящно согнув мизинец:

– Вам ее укажет кто-нибудь из девочек.

Но он не уходил.

– А вы не прогуливаетесь по вечерам в свой свободный день? Вот сегодня, например?

Никакого ответа.

– Вы служите в магазине, да? – терпеливо попытался он снова завязать разговор. Он смутно помнил, что Слэттери – это, кажется, большой мануфактурный магазин с зеркальными витринами на Грэйнджер-стрит.

Дженни наконец удостоила его взглядом.

– А если и в магазине – вам-то что? – отрезала она. – Вас это не касается. И вообще, я не «служу». Это вульгарное, простонародное выражение, я его не выношу. Я *состою в штате* у Слэттери, в отделении шляп, там самая чистая и тонкая работа. Ненавижу все грубое и вульгарное! И больше всего не выношу мужчин, которые делают грязную работу.

И она рывком снова подняла журнал. Джо в раздумье потирал подбородок, пожирая глазами всю ее – от тонких лодыжек и стройных бедер до красивых маленьких грудей. «Вот как, ты не любишь мужчин, которые занимаются грязной работой? – думал он, усмехаясь про себя. – Ладно, подожди. Ты полюбишь такого мужчину».

VIII

Марта переживала это как тяжкий позор. Никогда ей и не снилось такое, никогда в жизни! Ужас! Стряпая на кухне, то пробуя вилкой, готова ли картошка, то поднимая крышку с кастрюли, чтобы посмотреть, как тушится мясо, она старалась не думать о том, что случилось. Но ничего не выходило, она не могла не думать. Тщетно боролась она с собой, гнала прочь мысли о том, что она, Марта Редпас, дожила до такого позора. Редпасы всегда были приличными людьми. В ее роду все были честные сектанты, честные углекопы. Она могла с гордостью перебрать представителей целых четырех поколений и не отыскать ни единого пятна на их репутации. Все честно работали под землей и наверху тоже вели себя как порядочные люди. А теперь? Теперь она уже не Марта Редпас, а Марта Фенвик, жена Роберта Фенвика. А Роберт Фенвик – в тюрьме.

Гримаса горечи исказила ее лицо. В тюрьме! Ее обожгло воспоминание об этой сцене, как обжигало сотни раз: Роберт на скамье подсудимых, рядом с Лимингом, – и надо же, чтобы вместе с таким, как Лиминг! – а этот красноречивый грубиян Джеймс Ремедж – за судейским столом. Он не церемонился и говорил напрямик все, что думал. Марта была на суде, она не могла не пойти. Да, была, и видела, и слышала все. «На три недели, без замены штрафом». Она чуть не вскрикнула, когда Ремедж прочел приговор. Ей казалось, что она сейчас умрет. Но гордость помогла ей взять себя в руки, сделать каменное лицо. Гордость поддерживала ее все эти жуткие дни, помогла ей даже сегодня, когда жена Боксера Лиминга, возвратившаяся из города с новостями, подстерегла ее, Марту, на углу и с громогласным сочувствием объявила, что «наши мужья» будут выпущены в субботу. «Наши мужья... Выпущены!»

Посмотрев на часы (первая вещь, которую Сэм выкупил для нее из заклада), она подтащила к огню жестяную лохань и принялась носить кипяток из прачечной. Она черпала воду железным ведром, и хождение с тяжелой ношей сильно измучило ее. Последнее время ей нездоровилось, и сейчас тоже она ощущала слабость и головокружение. Начинались боли. На минутку пришлось остановиться, пока немного не утихнут схватки. «Это все из-за волнения», – подумала Марта. Ведь она женщина крепкая. Ей казалось, что ей было бы легче, если бы ребенок внутри подавал какие-нибудь признаки жизни, но он не шевелился, она чувствовала только тянущую боль и тяжесть в животе.

Пробило пять часов, и очень скоро с улицы донесся топот – медленные, тяжелые шаги утомленных людей. Работать девять часов в смену, а потом еще взбираться на самый верх холма, на Террасы... Но это хорошая, честная работа, на ней они выросли, и она тоже. Ее сыновья молоды и сильны. Они шахтеры. И другой работы она для них не желала.

В ту минуту, как она это подумала, дверь открылась, и вошли все трое: впереди Гюи, за ним Дэвид и последним Сэмми, тащивший под мышкой кусок распиленного бревна на растопку. Милый Сэмми! Всегда позаботится о матери! Теплая волна умиления пробила сквозь холодную тоску в сердце, и Марте вдруг захотелось обнять Сэмми и заплакать.

Сыновья следили за выражением лица матери. В последние дни дома царил гнетущая атмосфера. Марта была с ними резка и придирчива. Она это сознавала, видела, что они с опаской всматриваются в ее лицо, и, хотя она сама была в этом виновата, ее это задело.

– Ну, как дела, мать? – Сэмми улыбнулся, и его белые зубы сверкнули на черном фоне угольной пыли, которая, смешавшись с потом, коркой облепила ему лицо.

Марте нравилось, что он называл ее «мать», а не «ма», как было принято у них в предместье. Но она только указала кивком головы на приготовленную ванну с водой и, отвернувшись, принялась накрывать на стол.

Несмотря на присутствие матери, все трое сняли башмаки, куртки, фуфайки и брюки – рабочий костюм шахтера, насквозь пропитанный потом, водой и грязью шахты. Раздевшись

догола, они стали все вместе мыться в жестяной ванне, из которой поднимался пар. Теснота обычно не мешала им дружелюбно шутить. Но сегодня шутки слышались редко. Сэм, правда, пробовал поддразнивать Дэви и смеялся:

– Над ванной мойся, ты, бегемот! – А потом: – Эй, парень, где мыло? Ты проглотил его, что ли?

Но в шутках этих не было настоящего веселья. Гнет, нависший над домом, мрачное лицо Марты парализовали его. Братья оделись на этот раз без обычных дурачеств и, почти не разговаривая, сели обедать.

Обед был отличный – большие порции аппетитного мяса, тушенного с луком и картофелем. Марта всегда готовила прекрасные обеды: она понимала, как много значит обед для рабочего человека. Теперь, слава богу, эта несчастная забастовка прекратилась и можно кормить своих досыта. Она сидела и наблюдала, как они едят, снова наполнила их тарелки. Самой ей не хотелось есть, она только выпила чаю. Но даже от чая ей не стало лучше. Какая-то блуждающая боль началась в пояснице, защемила грудь и исчезла раньше, чем Марта поняла, что это за боль.

Сыновья кончили обед. Первым поднялся Дэвид и отошел в угол, где хранились его книги, потом уселся на низенькую табуретку у очага с карандашом и записной книжкой, положив ее на колени. «Латынь, – подумала огорченно Марта, – он может теперь заниматься латынью!» И эта мысль, мелькнувшая среди других, горьких, почему-то вызвала раздражение. Вот тоже одна из затей Роберта – это учение: он хочет, чтобы мальчик в будущем году поступил в колледж, держал экзамен на стипендию, – и Дэви лезет из кожи. Роберт послал его учиться в вечернюю школу к мистеру Кэрмайклу на Бетель-стрит. А она, Марта, насчитывавшая в своем роду длинный ряд предков-углекопов, гордилась этим, презирала книги и чувствовала, что из этого учения ничего хорошего не выйдет.

Вслед за Дэви встал из-за стола Гюи, отправился в прачечную и принес оттуда молоток, колодку, свои старые футбольные башмаки и дюжину новых сапожных гвоздей. Он присел на корточки в дальнем углу кухни, в стороне от остальных, и, наклонив темную, еще блестящую от воды голову, начал подбивать гвоздями башмаки, как всегда молчаливый, сосредоточенный. В прошлую субботу он из своей полочки утаил от матери шестипенсовик – просто оставил его себе, не сказав ей ни слова об этом. Марте нетрудно было догадаться для чего. Футбол! Дело тут не только в увлечении спортом, хотя Гюи и обожал спорт. Нет, нет, у Гюи была более серьезная цель: Гюи хотел стать чемпионом, футболистом высокого класса, получающим шесть фунтов в неделю за величайшую ловкость в игре, – вот в чем заключалась тайна Гюи, его заветная мечта. Оттого он отказывался от папирос и даже от стакана пива по воскресеньям, оттого он не встречается с девушками (Марта знала, что Гюи никогда не смотрит ни на одну из них, хотя очень многие девушки заглядывались на него), оттого он носился по вечерам, пробегая целые мили, – это называлось тренировкой. Марта не сомневалась, что, как бы Гюи ни был утомлен, он уйдет, как только починит свои башмаки.

Она нахмурилась еще сильнее. Спартанские привычки Гюи она от всей души одобряла, ничто не могло быть лучше. Но цель! Бросить шахту? И он тоже жаждал уйти из шахты! Марта не верила в его ослепительную мечту и не боялась, что она может осуществиться, но ее тревожила эта страсть Гюи – да, она ее очень заботила.

Инстинктивно глаза ее обратились на Сэма, который еще сидел за столом и черенком вилки беспокойно выводил на клеенке узоры. Он, видно, почувствовал взгляд матери – тотчас в смущении положил вилку и встал. Засунув руки в карманы, он минуты две слонялся по кухне, подошел к квадратному зеркальцу, висевшему над раковиной, взял гребень с полочки, намочил его и старательно расчесал волосы на пробор, потом достал висевший на перекладине у очага чистый воротничок, который мать накрахмалила и выгладила только сегодня утром, надел его, завязал по-новому галстук, прифрантился; затем, удовлетворенно насвистывая, схватил шапку и весело направился к двери.

Лежавшая на коленях рука Марты сжалась так сильно, что костяшки пальцев торчали, как остря.

– Сэмми!

Сэм, уже на пороге, обернулся, словно в него выстрелили.

– Куда ты, Сэмми?

– Ухожу, мать.

Его улыбка не смягчила ее, она не хотела ее замечать.

– Вижу, что уходишь. Но куда?

– Пройдусь по улице.

– По Кэй-стрит?

Сэм посмотрел на нее. Его простодушное некрасивое лицо вспыхнуло и приняло упрямое выражение:

– Да, если желаешь знать, мама, я иду на Кэй-стрит.

Значит, инстинкт ее не обманул: он идет к Энни Мэйсер. Марта терпеть не могла Мэйсеров, ей не внушали никакого доверия этот непутевый отец и бешеный Пэг Мэйсер, его сын. То были люди такого же сорта, как Лиминги, – не особенно почтенные. Они даже не были шахтерами, а принадлежали к «рыбацкой братии», державшейся особняком и не имевшей верного заработка. У этих людей, по выражению Марты, было «сегодня густо, завтра пусто», один месяц объедались, другой – закладывали и лодку и сети. Против самой Энни Марта ничего не имела, – люди говорили, что она славная девушка. Но Сэмми она не пара. У нее бог знает какая родня, она торгует рыбой вразнос и даже как-то, когда выдался плохой год, нанялась в Ярмуте потрошить сельдей. Чтобы Сэмми, ее любимый сын, которого она надеялась увидеть когда-нибудь лучшим забойщиком «Нептуна», женился на какой-то уличной торговке? Никогда! Никогда! Марта тяжело перевела дух.

– Я не хочу, чтобы ты сегодня вечером уходил из дому, Сэмми.

– Но я обещал, ты же знаешь, мама. Мы идем гулять с Пэтом Мэйсером. И Энни с нами.

– Все равно, Сэмми. – Ее голос стал неприятно резким и скрипучим. – Я не хочу, чтобы ты туда шел.

Сэм посмотрел на нее в упор, и в его глазах, кротких, как у преданной собаки, она прочла неожиданную решимость.

– Энни меня ждет, мать. Ты извини, но мне надо идти.

Он вышел и очень тихо закрыл за собой дверь.

Марта сидела как окаменелая: в первый раз в жизни Сэмми ее послушался. У нее было такое чувство, словно он дал ей пощечину. Заметив, что Дэвид и Гюи украдкой на нее поглядывают, она попыталась взять себя в руки – встала, убрала со стола, трясущимися руками перемыла посуду.

Дэвид сказал:

– Давай, мама, я перетру все.

Она покачала головой, сама перетерла тарелки и села чинить одежду сыновей. С некоторым трудом вдела нитку в иглу, достала старую рабочую фуфайку Сэмми, в стольких местах штопанную и заплатанную, что уже почти не видно было фланели, из которой она первоначально была сделана. При виде этой старой фуфайки шахтера у Марты сжалось сердце. Она вдруг почувствовала, что была слишком резка с Сэмми, обошлась с ним не так, как следовало бы. Не Сэм виноват, а она. Эта мысль взволновала Марту, и глаза ее затуманились. Сэм сделал бы для нее что угодно, если бы она поговорила с ним по-хорошему!

Она принялась было чинить фуфайку, как вдруг снова почувствовала боль в пояснице. На этот раз боль была злая, пронизывающая, и Марта мгновенно поняла, что это означает. Она с ужасом выжидала. Боль утихла, потом возобновилась. Молча, без единого слова, Марта поднялась и вышла через заднюю дверь. Она двигалась с трудом. Вошла в чулан. «Да, началось».

Выйдя из чулана во двор, она с минуту стояла среди вечернего мрака и безмолвия, одной рукой опираясь на низкую ограду, другой – придерживая свой тяжелый живот. Вот оно и пришло, а муж в тюрьме. Какой срам! И на глазах у взрослых сыновей! На вид непроницаемая, как окружавший ее мрак, Марта торопливо соображала: нельзя звать ни доктора Скотта, ни миссис Риди, повитуху. Роберт безрассудно ухлопал все их сбережения на эту забастовку. У нее долги, она не может, не должна допускать новых расходов. В одну минуту решение было принято.

Она ворочилась в дом:

– Дэвид! Сбегай к миссис Брэйс. Попроси ее зайти ко мне сейчас же.

Дэвид, встревоженный, вопросительно посмотрел на мать. Марта никогда особенно не благоволила к Дэвиду, он был любимцем отца, но в эту минуту выражение его глаз тронуло ее. Она сказала ласково:

– Беспокоиться не о чем, Дэви. Мне просто нездоровится.

Когда мальчик поспешно вышел, она отперла комод, где хранила свой скудный запас белья; затем, неловко ступая, с трудом переставляя ноги, взобралась по лестнице наверх, в спальню сыновей.

Миссис Брэйс, ближайшая соседка, пришла сразу же. Это была добродушная женщина, страдавшая одышкой, очень тучная. Бедняжка выглядела так, словно и сама ожидала ребенка. На самом же деле у Ханны Брэйс была пупочная грыжа, следствие частой беременности, и, несмотря на то что муж ее Гарри каждый год клятвенно обещал ей купить к Рождеству бандаж, бандажа у нее до сих пор не было. Каждый вечер, ложась спать, она усердно вправляла выпиравшую массу, и каждое утро эта масса снова вылезала. Ханна почти привыкла к своей грыже, говорила о ней с близкими людьми так, как говорят о погоде. Грыжа была для нее любимой темой разговора.

Ханна с такими же предосторожностями, как и Марта, поднялась по лестнице и скрылась в комнате наверху.

Дэви и Гюи сидели в кухне. Гюи бросил чинить башмаки и делал вид, что с интересом читает газету. Дэвид тоже притворялся, будто читает. Но время от времени они обменивались взглядами, чувствуя, что там, наверху, совершается что-то таинственное, и каждый видел в глазах другого выражение какого-то смутного стыда. Нет, только подумать! Это происходит с их собственной матерью!

Из спальни наверху доносился лишь шум тяжелых шагов миссис Брэйс, и больше ничего. Один раз она крикнула вниз, чтобы принесли горячей воды. Дэви отнес ей чайник.

В десять часов вернулся Сэм. Он вошел бледный, стиснув зубы, ожидая ужаснейшей сцены. Мальчики рассказали ему, что случилось. Сэм покраснел (он вообще легко краснел), раскаяние охватило его, – он был незлопамятен.

– Бедная мама, – сказал он, глядя на потолок.

На большее проявление нежности никто из них никогда не решился бы.

В три четверти одиннадцатого миссис Брэйс, расстроенная и озабоченная, сошла вниз с небольшим свертком, завернутым в газету... Она вымыла под краном испачканные чем-то красным руки, напилась холодной воды, потом обратилась к Сэмми, как к самому старшему.

– Девочка, – сказала она. – Прехорошенькая, но мертвая. Да, родилась мертвой. Я все сделала не хуже, чем миссис Риди, не сомневайтесь. Но ничем уже нельзя было помочь... Завтра приду убирать маленькую. Ты снеси-ка матери наверх чашку какао. Ей уже немножко лучше. А мне надо идти готовить моему хозяину завтрак к первой смене.

Она осторожно подняла сверток, ласково улыбнулась Дэвиду, заметившему, что сквозь газету протекает что-то красное, и заковыляла из кухни.

Сэм сварил какао и понес наверх. Он оставался там минут десять. Когда он спустился вниз, лицо у него было желто-серое, как глина, на лбу выступил пот. Сэм вернулся со свидания с любимой девушкой – и увидел лицом к лицу смерть.

Дэвид надеялся, что Сэм заговорит, расскажет, лучше ли матери. Но Сэм сказал только: – Ложитесь спать, ребята. Мы все трое ляжем здесь, на кухне.

На другое утро, во вторник, миссис Брэйс пришла проводить Марту и, как обещала, обмыть и обрядить мертвого ребенка.

Дэвид вернулся из шахты раньше других: в эту ночь ему повезло, он поднялся наверх сразу и на две клетки обогнал главную смену. Когда он пришел домой, в кухне было еще полутемно. На кухонном столе лежал трупик девочки.

Дэвид подошел ближе и стал рассматривать ее со странной смесью страха и благоговения. Она была такая маленькая, ручонки не больше лепестка белой кувшинки, на крохотных пальчиках не было ногтей. Он мог бы одной своей ладонью закрыть все ее личико. Точеное, белое, как мрамор, оно было прелестно. Синие губки полуоткрыты, словно в удивлении, что жизнь не наступила. Миссис Брэйс с искусством настоящей профессионалки заткнула ей рот и ноздри ватой. Глядя через плечо Дэвида, она не без гордости объявила:

– Чудо как хороша. Но твоя мама, Дэви, не хочет, чтобы она лежала у нее наверху.

Дэвид вряд ли слышал ее. Упрямое возмущение росло в его душе, пока он смотрел на это мертворожденное дитя. Почему так должно было случиться? Почему его мать была лишена той пищи, того ухода и внимания, которые требовались в ее положении? Почему этот ребенок не живет, не улыбается, не сосет грудь?

Дэвида это мучило, будило в нем бешеный гнев. Как тогда, когда Скорбящий и его жена накормили его, в нем что-то болезненно трепетало, как натянутая струна. И снова он со всей сумбурной страстностью юной души давал себе клятву что-то сделать... Что-то... он не знал, что именно, не знал как... Но он сделает!.. Он нанесет сокрушительный удар гнусной бесчеловечности окружающей жизни.

Сэм и Гюи вошли одновременно. Посмотрели на малютку. Не переодеваясь, пообедали жареной грудинкой, которую приготовила миссис Брэйс. Обед был не так вкусен, как всегда, картошка не разварилась, в ванне было мало горячей воды, в кухне грязно и все вверх дном – чувствовалось отсутствие матери.

Попозже, когда Сэмми пришел сверху, он исподтишка посмотрел на братьев и сказал как-то натянуто:

– Она не хочет, чтобы были похороны. Я толковал ей, толковал, а она не хочет, и все, – говорит, что после забастовки мы не можем тратить таких денег.

– Но ведь это обязательно, Сэмми! – воскликнул Дэвид. – Спроси у миссис Брэйс...

Миссис Брэйс послали уговаривать Марту. Но и это не помогло – Марта была неумолима. С холодной горечью думала она об этом ребенке, которого она не хотела и который теперь уже не нуждался в ней. Закон не требует, чтобы мертворожденных хоронили по обряду. И не надо никаких похорон, всех этих церемоний, которыми обставляют смерть.

Гюи, мастер на все руки, сделал аккуратный гробик из простых досок, внутри его выстлали чистой белой бумагой и уложили трупик на это незатейливое ложе. Потом Гюи приколотил крышку. Поздно ночью, в четверг, Сэм взял гробик под мышку и вышел один. Он запретил Гюи и Дэви идти за ним. Было темно и ветрено. Мальчики не знали, куда ходил Сэм, пока он не вернулся и не рассказал им. Оказалось, что он занял пять шиллингов у Пэта Мэйсера, старшего брата Энни, заплатил Джиддису, кладбищенскому сторожу, и Джиддис позволил ему тайно зарыть ребенка в углу кладбища. Часто потом Дэвид думал об этой могилке, которую Сэм сровнял с землей. Он так никогда и не узнал, в каком месте она находится. Ему было только известно, что неподалеку от участка нищих. Это ему удалось выпытать у Сэма.

Прошла пятница, настала суббота – день выхода Роберта из тюрьмы. Марта родила в понедельник вечером, а в субботу днем она была уже на ногах и ожидала. Ожидала его, Роберта.

Он пришел в восемь часов, когда она была одна на кухне и стояла, наклонясь над огнем; вошел так тихо, что она не заметила его, пока знакомый кашель не заставил ее круто обернуться. Муж и жена в упор смотрели друг на друга, он – спокойно, беззлобно, она – с терпкой горечью, мрачным огнем пылавшей в ее глазах. Оба молчали. Роберт бросил шапку на диван и сел к столу движением очень усталого человека. Марта тотчас подошла к печке, вынула гретшийся для него обед, поставила перед ним тарелку – все в том же зловещем молчании.

Роберт начал есть, время от времени бросая беглые взгляды на ее фигуру, взгляды, в которых читалась просьба о прощении. Наконец спросил:

– Что тут с тобой приключилось, детка?

Она задрожала от гнева:

– Не смей больше называть меня так.

Тогда он понял. В нем шевельнулось что-то вроде удивления.

– Мальчик или девочка? – спросил он.

Марта знала, что ему всегда хотелось иметь дочку. И, чтобы сделать ему больно, рассказала, что дочь родилась мертвой.

– Вот, значит, как!.. – сказал он со вздохом. И, помолчав, добавил: – Плохо тебе пришлось это время, детка?

Это было уж слишком. Марта не сразу удостоила его ответом. Со скрытым ожесточением убрала пустую тарелку, поставила перед ним чай и только тогда сказала:

– Я привыкла к плохому. Хорошего не знавала с того дня, как вышла за тебя.

Роберт вернулся домой в самом миролюбивом настроении, но злобные выходки жены разгорячили усталую кровь.

– Я не виноват, что все так случилось, – сказал он с не меньшей горечью, чем Марта. – Ты, надеюсь, знаешь, что меня посадили ни за что.

– Нет, этого я не знаю, – возразила она, подбоченясь и вызываясь глядя ему в лицо.

– Они хотели со мной рассчитаться за забастовку, неужели ты не понимаешь?

– И это меня ничуть не удивляет! – ответила она, задыхаясь от гнева.

Тут у Роберта лопнуло терпение. Господи, да что он сделал плохого? Он убедил людей бастовать, потому что страшно боялся за них с тех пор, как начались работы в Скаппер-Флетс. А в конце концов они же над ним глумились. Им на него плевать, – вот допустили, чтобы его без всякой вины посадили в тюрьму. Яростное возмущение забушевало в нем, возмущение против Марты и против своей судьбы. Он размахнулся и ударил Марту по лицу.

Она не дрогнула, приняла удар даже с каким-то удовлетворением, ноздри ее раздулись.

– Спасибо, – сказала она. – Мило с твоей стороны. Только этого и ждала.

Роберт тяжело опустился на стул, побледнев еще больше, чем она, и закашлялся своим глухим, надрывным кашлем. Этот кашель лишил его сил. Когда приступ прошел, Роберт сидел согнувшись, совсем разбитый. Через некоторое время встал, разделся и лег на стоявшую в кухне кровать.

На другой день, в воскресенье, он хотя и проснулся в семь часов утра, но оставался в постели до полудня. Марта встала рано и ушла в церковь. Она заставила себя пойти туда, выдерживать любопытные взгляды, знаки пренебрежения и выражения сочувствия со стороны прихожан Бетель-стрит, отчасти в пику Роберту, отчасти же для того, чтобы поддержать свое достоинство.

Обед был настоящим мучением, в особенности для мальчиков. Они терпеть не могли те дни, когда у отца с матерью дело доходило до открытой ссоры. Эти ссоры словно парализовали всех, тучей нависали над ними.

После обеда Роберт пошел в контору копей. Он ожидал увольнения, но оказалось, что его не уволили. У него мелькнула смутная догадка, что здесь сыграла роль его дружба с Геддоном, уполномоченным шахтеров, и с Гарри Нэджендом, одним из лидеров Союза. Хозяин, видно,

опасался, как бы не вышло конфликта с Союзом, и благодаря этому его, Роберта, оставили на работе в «Нептуне».

Он пошел прямо домой, посидел с книгой у огня, потом молча улегся в постель. Его разбудил гудок, в два часа он был уже в шахте, так как работал в первой, утренней смене.

Весь день Марта ждала его возвращения. Неутихшая злоба все так же бушевала в ней. Она ему покажет, рассчитается с ним за все!.. Она беспрестанно поглядывала на часы, желая, чтобы время шло поскорее.

Сменившись, Роберт пришел домой совершенно разбитый и промокший до костей. Марта готовилась донимать мужа враждебным молчанием, но его жалкий вид неожиданно утишил всю глодавшую ее злобу.

– Что это с тобой? – вырвалось у нее инстинктивно.

Роберт оперся о стол, стараясь удержать кашель, с трудом переводя дух.

– Они уже принялись строить каверзы, – сказал он, намекая на отмену жребия при распределении мест в «Парадизе». – Меня занесли в черный список и дали самое скверное место на всем участке. Паршивая трехфутровая кровля. Всю смену я работал лежа на животе в воде.

Острая жалость полоснула Марту по сердцу. И вместе с этим трепетом боли в ней ожило то, что она считала давно умершим. Она протянула руки к Роберту:

– Дай я помогу тебе, муженек. Дай помогу раздеться. Она помогла ему снять грязную, промокшую одежду, помогла вымыться. Теперь она знала, что все еще любит его.

IX

Дэвид, работавший на глубине пятисот футов под землей, в двух милях от главной шахты, решил, что, вероятно, скоро перерыв. Он находился в «Парадизе», на участке «Миксен», самом низком этаже «Нептуна», на двести футов ниже «Глоба» и на триста ниже «Файв-Квотерс». Часов у Дэвида не было, и он определял время по числу рейсов, которые проделал с вагонетками от рудничного двора до погрузочной площадки. Он стоял сейчас подле Дика, своего шотландского пони, на площадке, где нагруженные углем вагонетки прицеплялись к механическому подъемнику и передавались на главный откаточный путь «Парадиза». Дэвид ожидал, пока Толли Браун переведет ему пустые вагонетки. Он ненавидел «Парадиз», но на площадке ему нравилось. Здесь ему, потному и разгоряченному от бега, казалось так прохладно, и можно было стоять во весь рост, не боясь удариться головой о кровлю.

Стоя здесь, он думал об ожидавшей его счастливой судьбе. Едва верилось, что сегодня его последняя суббота в «Нептуне». Не только последняя суббота – последний день! Нет, такому счастью даже трудно поверить!

Дэвид всегда ненавидел шахту. Некоторым из его товарищей нравилось работать в ней, они чувствовали себя здесь как рыба в воде. А ему совсем не нравилось. Может быть, потому, что у него слишком развито было воображение, он не мог отделаться от мысли, что шахтеры – те же заключенные, что они словно погребены в этих темных клетках, глубоко под землей. Кроме того, Дэвид, бывая в забое «Файв-Квотерс», всякий раз вспоминал, что он находится под морским дном. Мистер Кэрмайкл, младший преподаватель школы на Бетель-стрит, помогавший ему готовиться к экзаменам, объяснил ему, как называется это странное ощущение, будто находишься взаперти... Да, глубоко под землей, под дном морским... А там, наверху, светит солнце, дует свежий ветер, серебряные волны бьются о берег.

Дэвид всегда упрямо боролся с этим ощущением: пусть его повесят, если он поддастся такой глупой слабости! И все же он был рад, рад, что уходит из «Нептуна», тем более что испытывал странную уверенность, будто шахта считает своей добычей всякого, кто раз попал в нее, и не выпускает его больше никогда. Так говорили, шутя, старые шахтеры. Дэвид усмехнулся в темноте. Это шутка! Ну конечно, не более как шутка.

Толли Браун перевел пустые вагонетки, Дэвид собрал поезд из четырех вагонеток, вскочил на перекладину, щелкнул языком, погоняя Дика, и помчался по черневшему сплошным мраком скату. Вагонетки, грохоча, неслись за ним по неровному пути, а он все подгонял пони. Дэвид гордился своим умением ездить быстро. Он ездил быстрее всех откатчиков в «Парадизе» и привык к грохоту вагонеток. Этот грохот ему не мешал. Неприятно было только, когда какая-нибудь из них отрывалась и сходила с рельсов. Усилия, которые приходилось затрачивать на то, чтобы опять водворить ее на место, могли убить человека!

Он летел все ниже, ниже, стремглав, с головокружительной быстротой, выравнивая ход, направляя его, зная, где нужно быстро нагнуть голову, а где налечь на дугу. Это безрассудство, ужасное безрассудство, отец часто бранил его за слишком быструю езду, но Дэвиду она доставляла наслаждение. Великолепным последним скачком он достиг рудничного двора и остановился.

Здесь, как он и ожидал, уже сидели в нише на корточках и завтракали Нед Софтли и Том Риди, возившие вручную вагонетку от забоя до рудничного двора.

– Ну, садись и пожуй, старина! – крикнул Том, у которого рот был набит хлебом и сыром, и отодвинулся в глубь ниши, давая место Дэвиду.

Дэвиду нравился Том, крупный, добродушный парень, заменивший Джо в забое. Дэвид часто спрашивал себя: куда мог деваться Джо и что он теперь делает? И удивлялся при этом, отчего он так мало замечает отсутствие Джо, – ведь как-никак они с Джо были напарниками.

Может быть, оттого, что Том Риди вполне заменил ему Джо? Он такой же веселый и притом гораздо охотнее помогает, когда вагонетка сходит с рельсов, и не ругается так цинично, как Джо. Но хотя Дэвиду общество Тома доставляло удовольствие, он отрицательно покачал головой:

– Нет, Том, я пойду вниз.

Он хотел завтракать вместе с отцом. Всякий раз, когда представлялся случай, он забирал свой мешочек с едой и отправлялся в забой. И сегодня, в последний день, он не хотел изменять этой привычке.

Кровля наклонной просеки, ведущей к забою, была так низка, что Дэвиду приходилось сгибаться чуть не пополам. Туннель был тесен, как кроличий садок, и в нем царил чернильный мрак, так что открытая рудничная лампочка, немного коптившая, едва освещала его на какой-нибудь фут впереди. Здесь было так мокро, что вода хлюпала под ногами. Дэвид пробирался с трудом. Раз он ударился головой о твердую неровную поверхность базальтового свода и тихо выругался.

Добравшись до забоя, он увидел, что отец и Лиминг еще не завтракают и продолжают рубить уголь для загрузки на порожние вагонетки, которые Том и Нед должны были скоро привезти. Полуголые, в одних только сапогах и коротких штанах, они вырубали уголь длинными столбами. Забой был убийственный, и работа – Дэвиду это было известно – страшно тяжелая. Он выбрал сухое местечко и сел, наблюдая за работавшими и ожидая, пока они кончат. Роберт, согнувшись боком под глыбой угля, подсекал ее, готовясь опустить на землю. Он дышал тяжело, ловя ртом воздух, и пот струился из каждой поры его тела. У него был вид вконец замученного человека. В забое негде было повернуться, кровля нависла так низко, что казалось, вот-вот расплющит его, но Роберт работал упорно, умело и с замечательной ловкостью. Подле него рубил Боксер. Рядом с Робертом этот человек с могучей волосатой грудью и воловьей шеей казался великаном. Он не говорил ни слова и все время с ожесточением жевал табак. Жевал, сплевывал, рубил. Но Дэвид с мгновенно вспыхнувшей благодарностью заметил, что Боксер, жалея его отца, беретсЯ всякий раз за более тяжелый конец и делает самую трудную часть работы. Пот лил градом с изуродованного лица Боксера, и сейчас в нем не оставалось уже ничего от «чудо-мальчика из шахты».

Наконец они прекратили работу, обтерли пот фуфайками, надели их и уселись завтракать.

– Здорово, Дэви, – сказал Роберт, только теперь увидев сына.

– Здравствуй, папа.

Из соседнего забоя вынырнули Гарри Брэйс и Боб Огль и подсели к ним. Последним молча вошел Гюи, брат Дэвида. Все принялись за еду.

После утомительной езды в течение целого утра Дэвиду показались необыкновенно вкусными хлеб и холодная свинина, положенные матерью в его мешок. Отец же, как он заметил, едва дотрагивался до еды и только жадными, большими глотками пил холодный чай из бутылки. В мешке у него оказался еще и пирог. С тех пор как Роберт и Марта помирились, она готовила для него превкусные завтраки. Но Роберт половину пирога отдал Боксеру, сказав, что ему не хочется есть.

– Тут у кого угодно аппетит пропадет, – заметил Гарри Брэйс, кивая в сторону забоя, где работал Роберт. – Собачье место, что и говорить!

– Рабочему повернуться негде, будь оно проклято! – подтвердил Боксер, уписывая пирог с шумным удовольствием. Его «миссус» обыкновенно давала ему с собой в шахту только ломоть хлеба с жиром. – А пирог, ей-богу, первоклассный!

– Это от сырости все мы тут здоровье теряем, – вмешался Огль. – С кровли вода так и хлещет.

Наступило молчание, нарушаемое лишь хрипением воздуха в насосе. Будя в темноте эхо, эти звуки сливались с журчанием и бульканьем воды, протекавшей через нижнюю всасывающую трубу насоса. Этот шум был так привычен, что шахтеры уже почти не замечали его, тем не менее он приносил каждому бессознательное успокоение: где-то в глубине души рождалась уверенность, что насос работает хорошо.

Гарри Брэйс повернулся к Роберту:

– Но здесь все-таки не так мокро, как в Скаппер-Флетс, правда?

– Нет, – отвечал Роберт глухо. – Мы еще дешево отделались.

Боксер заметил:

– Если тебя донимает сырость, Гарри, ты бы попросил свою хозяйку, чтобы она тебе по вечерам утюжила кости.

Все засмеялись. Окрыленный успехом, Боксер шутливо ткнул Дэвида локтем в бок:

– Ты ведь у нас ученый малый, Дэви. Не посоветуешь ли какого средства, чтобы отогреть мой зад, а то он отсырел.

– Не хотите ли несколько тумачков? – сухо предложил Дэви.

Вокруг еще громче захохотали. Боксер ухмыльнулся. В тусклом полумраке он казался каким-то веселым великаном, склонным к сатанинским шуткам.

– Молодец, молодец! Это бы меня, наверное, согрело! – Он одобрительно поглядел сбоку на Дэви. – Ты, я вижу, действительно голова! Правда, что ты едешь в Бедлейский колледж, чтобы обучать всех профессоров Тайнкасла?

Дэвид сказал:

– Я рассчитываю, что они меня будут обучать, Боксер.

– Но чего ради тебя туда несет, скажи на милость? – укоризненно спросил Лиминг, подмигнув при этом Роберту. – Неужто тебе не хочется вырасти настоящим шахтером, вот как я, с такой же изящной фигурой, и лицом, и с кругленьким капиталцем в банке Фиддлера?

На этот раз шутки не захотел понять Роберт.

– Он поедет в колледж, потому что я хочу вытащить его *отсюда*, – сказал он сурово. И страстная выразительность, с которой он произнес последнее слово, заставила всех умолкнуть. – Пускай попытает счастья. Он усердно работал, выдержал экзамен на стипендию и в понедельник поедет в Тайнкасл.

Наступила пауза. Затем Гюи, все время молчавший, вдруг объявил:

– Хотелось бы и мне попасть в Тайнкасл! Интересно бы посмотреть на игру настоящих футболистов – тамошней объединенной команды...

Он сказал это с такой тоской, что Боксер снова захохотал.

– Не горюй, мальчик! – Он хлопнул Гюи по спине. – Скоро тебе самому придется играть с объединенной командой. Я видел твою игру и знаю, чего ты стоишь. Говорят, тайнкаслские спортсмены приезжают в Слискейл на ближайший матч специально для того, чтобы посмотреть на тебя.

Лицо Гюи покраснело под слоем грязи. Он понимал, что Боксер смеется над ним, но это его не трогало – пускай себе шутят, а он все-таки рано или поздно туда попадет! Он себя покажет, и скоро покажет, да!

Неожиданно Брэйс повернул голову в сторону просеки и прислушался.

– Эге! – воскликнул он. – Что это случилось с насосом?!

Боксер перестал жевать, все притихли, вслушиваясь в темноту. Хрипение насоса прекратилось.

За целую минуту никто не произнес ни слова. Дэвид почувствовал, что у него по спине поползли мурашки.

– Черт побери! – сказал наконец Лиминг медленно, с каким-то тупым удивлением. – Слышите? Насос не действует!

Огль, работавший в «Парадизе» недавно, вскочил и стал ощупывать засасывающий рукав насоса. Потом торопливо воскликнул:

– Вода поднимается. Здесь ее уже больше, гораздо больше, чем было!

Он снова погрузил в воду руку до самого плеча и, повозившись у насоса, сказал с внезапной тревогой:

– Схожу, пожалуй, за десятником.

– Постой! – остановил его Роберт резко-повелительным тоном и прибавил уже спокойнее: – Ну чего ты сразу побежишь в главную шахту, как испуганный мальчишка? Пусть себе Диннинг остается там, где он есть. погоди немножко! С черпанным насосом никогда беды не случится. И сейчас, наверное, ничего серьезного. Должно быть, засорился клапан. Я сам пойду посмотрю.

Он спокойно, не торопясь, встал и пошел по скату. Остальные ожидали в молчании. Не прошло и пяти минут, как послышалось медленное чавканье прочищенного клапана, и снова, журча, заработал насос. А спустя еще три минуты стало слышно его привычное мощное хрипение. Сковывавшее всех напряжение исчезло. Чувство великой гордости за отца охватило Дэвида.

– Здорово, черт возьми! – ахнул Огль.

Боксер поднял его на смех:

– Разве ты не знаешь, что когда работаешь с Робертом Фенвиком, то беспокоиться нечего? Ну валяй, нагружай вагонетки. А будешь тут сидеть целый день, так много не заработаешь.

Он встал, стащил с себя фуфайку, Брэйс, Гюи и Огль ушли в свой забой, а Дэвид, пройдя мимо Роберта, направился к вагонеткам.

– Ты быстро справился, Роберт, – заметил Боксер. – А Огль уже готов был нас хоронить! – И он оглушительно захохотал.

Но Роберт не смеялся. С каким-то странным, отсутствующим выражением изможденного лица он снял фуфайку и швырнул ее, не глядя, на землю. Фуфайка упала в лужу.

Они снова принялись за работу. Кайлы поднимались и опускались, подсекая глыбы угля, которые затем нужно было спускать вниз. Пот градом катился с обоих мужчин. Грязь забивалась во все поры кожи. Пятьсот футов под землей и две мили до рудничного двора. Вода медленно сочилась с потолка, непрерывно капала, подобно дождю, невидимому в сплошном мраке. И, заглушая все, мерно хрипел насос.

Х

К концу смены Дэвид отвел своего пони в стойло и распряг его.

Теперь предстояло самое тяжелое; он знал, что это будет тяжелее всего, но оказалось даже хуже, чем он ожидал. Он порывисто гладил шею пони. Дик, повернув длинную морду, казалось, глядел на Дэвида своими кроткими слепыми глазами, потом ткнулся носом в карман его куртки. Дэвид часто оставлял для него от своего завтрака кусочек хлеба или сухарик. Но сегодня Дика ждал необычайный сюрприз: Дэвид вытащил из кармана кусок сыра – Дик просто обожал сыр! – и стал медленно кормить пони. Отламывая маленькие кусочки и держа их на ладони, он старался продлить удовольствие и Дике и себе. Когда влажная бархатистая морда касалась его ладони, у Дэвида клубок подкатывал к горлу. Он тихонько отер руку об отворот куртки, в последний раз посмотрел на Дика и торопливо пошел прочь.

Он шел к выходу из шахты по главному откаточному штреку, мимо того места, где в прошлом году обвалившаяся кровля задавила трех человек: Хэрроуэра и двух братьев Престон – Нейля и Аллена. Дэвид видел, как их отрывали, изуродованных, сплюснутых... окровавленные тела, набитые грязью рты... Он никогда не мог забыть этого ужаса и, проходя мимо места их гибели, всегда замедлял шаг, упрямо желая доказать себе, что ему не страшно.

По дороге к нему присоединились Том Риди и его брат Джек, Нед Софтли, Огль, юный Ча Лиминг – сын Боксера, Дэн Тисдэйл и другие. Они пришли к рудничному двору, где целая толпа шахтеров ожидала своей очереди подняться наверх, терпеливая, несмотря на тесноту. Клеть поднимала только двенадцать человек зараз. Кроме «Парадиза», она обслуживала еще два верхних этажа, «Глоб» и «Файв-Квотерс». Дэвида оттеснили от весело дурачившихся Тома Риди и Неда Софтли и прижали к Скорбящему. Скорбящий уставился на него своими темными внимательными глазами:

– Ты, говорят, поступаешь в колледж в Тайнкасле?

Дэвид утвердительно кивнул головой. И опять предстоящее событие показалось ему слишком необычайным, чтобы быть правдой. Должно быть, его утомили за последние полгода напряженная работа по ночам, занятия с мистером Кэрмайклом, поездки в Тайнкасл на экзамены и затем радость, когда он узнал о результатах. Мучила его и молчаливая борьба из-за него между отцом и матерью: Роберт упорно и страстно желал, чтобы Дэвид получил стипендию и бросил работу в шахте, а Марта так же твердо решила, что он останется дома. Весть об успехе сына она приняла молча, без единого слова, и даже не приготовила его вещи к отъезду. Она не хотела принимать в этом никакого участия, нет, не хотела!

– Смотри, остерегайся Тайнкасла, мальчик, – сказал Скорбящий. – Ты едешь в пустыню, где люди бродят во тьме среди бела дня и в полдень, как среди ночи, ощупью ищут дорогу. Вот возьми. – Он сунул руку в грудной карман и достал оттуда тонкую, сложенную пополам и носившую следы пальцев брошюрку, сильно испачканную угольной пылью. – Здесь ты найдешь хорошие советы. За этой книжкой я не раз коротал обеденное время в шахте.

Дэвид, покраснев, взял брошюрку. Она его не интересовала, но не хотелось обижать Скорбящего. Он смущенно перелистал ее, – ничего другого не оставалось, – но в полутьме трудно было разобрать что-нибудь. Вдруг огонь в его лампе вспыхнул ярче, и одна фраза бросилась ему в глаза: «Никакой слуга не может служить двум господам, и вы не можете служить и Богу и мамоне».

Скорбящий не отводил от него испытующего взгляда. А Том Риди лукаво шепнул Дэвиду:

– Чем это он наградил тебя?

Толпа вдруг засуетилась. С грохотом опустилась клеть. Сзади кто-то крикнул:

– Полезайте все, ребята! Все полезайте!

Толпа хлынула к клетке. Началась обычная при посадке давка. Дэвид протиснулся вслед за остальными. Клетка, со свистом рассекая воздух, поднималась все выше и выше, словно подхваченная невидимой гигантской рукой. Навстречу лился дневной свет. Вот с лязгом поднялась перекладина, и люди сплошной, словно спаянной, массой двинулись из клетки навстречу дню.

Дэвид вместе с другими спустился по ступеням, прошел через двор и занял место в ряду шахтеров, ожидавших получки у конторы. Был солнечный июньский день. Его безмятежная прелесть смягчала резкие контуры копра, столбов, вращающихся шкивов и даже дымящей вытяжной трубы. Чудесно в такой день навсегда уходить из шахты!

Стоявшие в очереди медленно продвигались вперед. Дэвид видел, как его отец вышел из клетки (он последним поднялся наверх) и стал в конце очереди. Потом он заметил, что в ворота въехал кабриолет из усадьбы. В появлении кабриолета хозяина не было ничего необычного: каждую субботу Ричард Баррас приезжал в контору в час получки, когда рабочие, выстроившись во дворе, ожидали своих конвертов с деньгами. Это превратилось в своего рода ритуал.

Экипаж сделал ловкий поворот, так что его желтые спицы засверкали на солнце, и остановился у конторы. Баррас сошел, прямой и чопорный, и скрылся в главном подъезде. Бартли, соскочив еще раньше, возился с лошастью. Артур Баррас, втиснутый в кабриолет между двумя мужчинами, теперь остался в нем один.

Медленно продвигаясь вперед, Дэвид рассматривал Артура, лениво размышляя о нем. Артур, неизвестно почему, внушал ему симпатию – удивительно странное чувство, почти парадоксальное, потому что оно было похоже на жалость. А ему, Дэвиду, жалеть Артура Барраса было просто смешно! Между тем этот сидевший в экипаже тщедушный подросток с мягкими белокурыми волосами, которыми играл ветер, казался ему очень одиноким. Он вызывал покровительственное чувство. И у него был такой серьезный вид. Эта серьезная сосредоточенность походила на печаль. Когда Дэвид вдруг открыл, что жалеет Артура Барраса, он чуть не засмеялся.

Наконец и он добрался до окошка. Подошел, взял конверт с получкой, выброшенный ему из окошка кассиром Петтитом, и побрел, не торопясь, к воротам, чтобы подождать там отца. Здесь он остановился, прислонясь спиной к калитке. Мимо него проходила Энни Мэйсер. Увидев Дэвида, она улыбнулась ему и остановилась. Она ничего не сказала – Энни редко заговаривала с кем-нибудь первая, – она просто остановилась и, дружески улыбаясь Дэвиду, ожидала, чтобы он заговорил с ней.

– Одна гуляете, Энни? – сказал он ласково.

Энни Мэйсер ему нравилась, очень нравилась. Вполне понятно, что Сэм влюблен в нее. Она такая простая, бодрая, приветливая и ни капельки не спесива. За Энни глупостей не водилось. Почему-то она напоминала Дэвиду живую серебристую рыбку, хотя была далеко не миниатюрна и не имела ни малейшего сходства с рыбой. Это была рослая, ширококостная девушка одних лет с Дэви, с пышными бедрами и красивой тугой грудью; на ней было синее саржевое платье и грубые чулки ручной вязки. Энни сама вязала себе чулки. Она не прочитала за свою жизнь ни одной книги, но чулок связала очень много.

– Я сегодня в последний раз здесь, Энни, – сказал Дэвид, заговорив с ней только для того, чтобы она не ушла. – Расстаюсь с «Нептуном» навсегда... с водой, грязью, пони, вагонетками и всем прочим.

Энни сочувственно улыбнулась.

– И ничуть не жалко, – добавил Дэвид. – Уверю вас! Ничуть.

Энни понимающе кивнула головой. Наступило молчание. Энни окинула взглядом улицу, кивнула Дэвиду все с той же приветливой улыбкой и пошла дальше.

А он с теплым чувством смотрел ей вслед. И вдруг вспомнил, что Энни, собственно, не произнесла ни одного слова. Но, несмотря на это, каждая минутка, проведенная в ее обществе, доставляла удовольствие. Такова уж была Энни Мэйсер!

Дэвид оглянулся, ища глазами отца. Роберт был еще далеко от окошка. Как Петтит копается сегодня! Дэвид снова прислонился к воротам, постукивая ногой о столб.

Вдруг он заметил, что и за ним тоже наблюдают. Баррас в сопровождении Армстронга вышел из конторы, и оба, хозяин и смотритель, стояли теперь у кабриолета и смотрели прямо на него, Дэвида. Он решительно встретил эти взгляды, не желая смиряться перед ними: в конце концов, теперь ему наплевать – разве он не уходит из шахты? Баррас и Армстронг с минуту продолжали разговор, затем Армстронг, почтительно улыбнувшись хозяину, поманил рукой Дэвида. Тот неохотно направился к ним, но старался идти медленно.

– Мистер Армстронг сказал мне, что вы получили стипендию в Бедлейском колледже?

Дэвид видел, что Баррас в превосходном настроении. Тем не менее холодные глаза хозяйина смотрели на него с суровой проницательностью.

– Я очень рад вашему успеху, – продолжал Баррас. – А что вы думаете делать потом... по окончании колледжа?

– Буду держать экзамены на степень бакалавра словесности.

– Словесности? Гм... А почему бы вам не выбрать профессию горного инженера?

Что-то в тоне Барраса заставило Дэвида ответить вызывающе:

– Меня это дело не интересует.

Вызов скользнул по Баррасу так же бесследно, как капля воды по холодному камню.

– Вот как! Не интересует?

– Нет. Мне не нравится работать под землей.

– Не нравится, – равнодушно повторил Баррас. – Так вы хотите быть преподавателем?

Дэвид понял, что Армстронг все рассказал ему.

– Нет, нет. Я на этом не остановлюсь.

Он тут же пожалел, что у него это вырвалось. Порыв возмущенной гордости толкнул его на такую откровенность. Он понимал, как неуместны подобные заявления здесь, когда он стоит в грязном рабочем платье, а Артур из кабриолета смотрит на него и слушает. Зачем выступать в роли тошнотворного героя какого-то автобиографического романа «От хижины до Белого дома»? Но из упрямства он не хотел отступать. Если Баррас спросит, он ответит ему прямо, что намерен делать в будущем.

Но Баррас не проявлял никакого любопытства и, казалось, не заметил враждебности. Спокойно, точно не слыша слов Дэвида, он наставительным тоном продолжал:

– Образование – прекрасная вещь. Я никогда никому не становлюсь на дороге. Когда окончите колледж, дайте мне знать. Я член попечительского совета и могу устроить вас в одну из школ нашего графства. У нас всегда имеются вакансии для младших учителей.

Пряча глаза за сильными стеклами, он с тем же отсутствующим видом сунул руку в карман брюк и достал целую горсть серебра. Со своей обычной неторопливостью выудил монету в полкроны, как бы взвесил ее мысленно, положил обратно и взял вместо нее монету в два шиллинга.

– Вот вам флорин, – сказал он с величественным спокойствием, одновременно и одаряя и отпуская этим жестом Дэвида.

Дэвид был настолько ошарашен, что машинально принял от него монету. Он стоял, зажав ее в руке, пока Баррас садился в экипаж, и смутно сознавал, что Артур дружелюбно улыбается ему. Кабриолет тронулся.

Дэвид с трудом удерживал распиравший его смех. Вспомнился евангельский текст из брошюры, которую дал ему Скорбящий: «Нельзя служить и Богу и мамоне». Он повторял про себя: «Нельзя служить и Богу и мамоне. Нельзя служить и Богу...» Комедия, да и только!..

Резко повернувшись, он зашагал к воротам, где уже стоял Роберт, ожидая его. Дэвид понял, что отец был свидетелем всей этой сцены. Роберт даже побледнел от гнева и не поднимал глаз, избегая смотреть на сына. Оба вышли за ворота и пошли по Каупен-стрит. Ни одного слова не было сказано между ними. Скоро их догнал Сви Мессюэр. Роберт тотчас же заговорил с ним обычным дружеским тоном. Сви, красивый белокурый юноша, был всегда беззаботно-весел. Он работал грузчиком, но не в «Парадизе», а выше этажом, в «Глобе». Настоящее его имя было Освей Мессюэр; он был сыном цирюльника с Лам-стрит, натурализовавшегося австрийца, вот уже двадцать лет жившего в Слискейле. Оба, отец и сын, были популярны: сын – в шахте, где весело нагружал вагонетки, отец – в своем «Салоне», где ловко намыливал подбородки.

Роберт разговаривал со Сви так, как будто ничего неприятного не произошло. Когда Сви распрощался с ними, перед тем как свернуть на Фрихолд-стрит, он сказал ему:

– Передай отцу, что приду в четыре, как всегда.

Но как только Сви ушел, лицо Роберта приняло прежнее горькое выражение. Черты его словно сжались, скулы резко обозначились. Молча брел он рядом с Дэвидом и, когда они уже прошли половину Каупен-стрит, вдруг остановился против Миддльрига, заднего двора старой запущенной молочной фермы, которая у города была бельмом на глазу. Двор был завален гниющей соломой, всякими нечистотами, а посреди высилась большая куча навоза. Остановившись, Роберт в упор посмотрел на Дэвида.

– Что он дал тебе, сын? – спросил он тихо.

– Два шиллинга, папа. – И Дэвид показал флорин, который он с каким-то чувством стыда до сих пор еще крепко сжимал в кулаке.

Роберт взял монету, посмотрел на нее и с бешеной силой швырнул прочь.

– Вон ее! – сказал он, выговаривая эти слова так, как будто они причиняли ему боль. – Вон ее!

Флорин угодил прямо в середину навозной кучи.

XI

Наступил вечер, великий вечер праздника в Миллингтоновском клубе. Завод Миллингтона, расположенный в тупике одного из переулков Плэтт-стрит, был невелик – на нем работало всего человек двести, но с виду производил довольно внушительное впечатление, особенно в серенький мартовский день.

Из труб чугуноплавильных печей вырывались красные языки пламени и густые клубы дыма. Поток добела раскаленного жидкого металла, текущий из вагранки³ в литейные ковши, освещал бурое небо, и оно словно пылало медным блеском. Едкие пары, поднимавшиеся с пола литейной, где вливалась в формы жидкая масса чугуна, раздражали ноздри. В уши мучительно били тяжелые удары молотов, звон зубил, которыми обтесывают железо после отливки, жужжание приводных ремней и колес, пронзительное гудение токарных и фрезерных станков, визг пил, вгрызающихся в металл. И в открытые двери виднелись сквозь туман неясные фигуры людей, обнаженных до пояса из-за невыносимой жары.

Завод готовил главным образом оборудование для угольных шахт – железные вагонетки, лебедки, балки для крепления кровли, массивные кованые болты. Но сбыт этих изделий затруднялся сильной конкуренцией, и Миллингтоны держались не столько благодаря своей предприимчивости, сколько благодаря связям со старыми солидными фирмами. Да Миллингтоны и сами были старой, много лет существовавшей фирмой, фирмой с традициями. И одной из таких традиций был Общественный клуб.

Клуб Миллингтоновского завода, открытый в семидесятых годах Великим Старцем – Уэсли Миллингом, должен был демонстрировать благосклонную заботу о Рабочем и Семье Рабочего. Клуб имел четыре секции: литературную, экскурсионную, фотосекцию с темной комнатой и секцию спорта. Но гвоздем клубной программы был ежегодный танцевальный вечер, который с незапамятных времен неизменно устраивался в «Зале Чудаков»⁴.

И вечер пятницы, 23 марта, обещал быть вечером подлинного веселья и радости. А между тем Джо в этот день возвращался домой с завода угнетенный мрачными думами. Разумеется, Джо собирался идти на бал, он успел уже стать первым любимцем в клубе, почти чемпионом в кружке бокса, и его намечали в жюри по состязанию новичков на бильярде. Все эти восемь месяцев Джо преуспевал. Он заметно пополнел, развил мускулы и, по его собственному выражению, «завел чертову уйму приятелей». Джо был великий проныра, умел дружески хлопать каждого по спине с громким «Здорово, старина!», у него всегда была наготове улыбка – открытая, веселая улыбка и крепкое рукопожатие, и он так мило умел рассказывать неприличные анекдоты. На заводе все влиятельные лица, начиная от Портерфилда, старшего мастера, и кончая самим мистером Стэнли Миллингом, явно благоволили к Джо. Словом, он имел успех у всех, кроме Дженни.

Дженни! О ней и думал Джо, бредя через Высокий мост и уныло взвешивая свои шансы. Правда, она сегодня идет с ним на бал – ну конечно идет! – но какое это имеет значение, раз между ними уже все сказано и все кончено? Никакого, ровно никакого! Чего он добился от Дженни за восемь месяцев? Не слишком многого, видит бог! Он водил ее повсюду – Дженни любила развлечения, – тратился на нее, бросал свои кровные денежки на ветер. А что получил взамен? Несколько раз она неохотно позволила себя поцеловать, и только. Но из его объятий она вырывалась и этим только разжигала его аппетит.

Джо уныло вздохнул. Нет, Дженни ошибается, если думает, что его можно водить за нос. Он ей скажет правду в глаза и прекратит все это, порвет с ней окончательно.

³ Вагранка – печь для переплавки металла.

⁴ «Чудаки» (Oddfellows) – тайное общество вроде масонского ордена.

Но Джо не в первый раз говорил себе это. Он говорил это себе уже десятый раз – и все же до сих пор не решился на разрыв. Его влекло к Дженни даже сильнее, чем в первый день. А ведь уже и тогда она возбудила в нем пылкие желания... Джо громко выругался.

Дженни ставила его в тупик: она была с ним то надменно-дерзка, то кокетливо-ласкова. Милостивее всего она бывала к нему, когда он надевал свой новый синий костюм и котелок, который она заставила его купить. Когда же она случайно встречала его в грязном рабочем комбинезоне, то проплывала мимо, чуть не замораживая его своим холодным взглядом. То же самое бывало, когда Джо приглашал ее пойти с ним куда-нибудь: если он брал хорошие места в «Эмпайре», она ворковала, улыбалась ему, позволяла держать ее за руку; если же он затевал прогулку в сумерки по городскому бульвару, она шла рядом недовольная, капризно вскинув голову, на все отвечала сердито и односложно и держалась от него на расстоянии целого ярда. Если Джо хотел повести ее в кофейню Макгайгена и угостить сосисками с картофельным пюре, она презрительно фыркала: «В такие места ходит только мой отец». Зато приглашение в перwokлассный ресторан Леонарда на Хай-стрит она принимала сияя и нежно прижималась к Джо. Дженни считала себя выше своей семьи, лучше всех. Она делала замечания отцу, матери, сестрам, особенно Салли. Она и Джо постоянно делала замечания, поучала его, объясняя, как надо снимать шляпу при встрече, как держать тросточку, внушая, что по тротуару мужчине следует ходить ближе к краю, что, когда берешь чашку чая, мизинец следует сгибать. Дженни больше всего ценила в людях светский лоск и была помешана на правилах хорошего тона, вычитанных ею в грошовых дамских журналах. Из тех же журналов она черпала сведения о модах, «идеи» туалетов, которые сама себе шила, советы, как сохранить белизну рук, как придать волосам мягкость и блеск с помощью «яичного белка, влитого в воду перед ополаскиванием».

Нельзя сказать, чтобы Джо не одобрял этого стремления Дженни к аристократической изысканности. Оно ему даже нравилось. Всякие мелочи, вроде ее духов «Жокей-клуб», ее кружевных лифчиков и просвечивающих сквозь блузку розовых ленточек, приятно возбуждали его, создавали ощущение, что Дженни *другая*, особенная, не такая, как те уличные девицы, к которым он ходил иногда, когда Дженни заставляла его испытывать муки Тантала, дразня его надеждой.

Самая мысль о том, что он претерпел, еще больше разжигала в нем неутолимое желание. И сегодня, поднимаясь по лестнице дома № 117/А на Скоттсвуд-роуд, он говорил себе, что вечером доведет дело до конца или выяснит, почему это ему не удается.

Войдя в заднюю комнату, он взглянул на часы и увидел, что опоздал. Дженни уже ушла наверх одеваться. Миссис Сэнли лежала в гостиной с сильной мигренью. Филлис и Клэри убежали на улицу играть. Одна Салли дожидалась Джо, чтобы подать ему ужин.

– А где твой папа? – спросил вдруг Джо, после того как с волчьей жадностью проглотил две копченые рыбки и почти целую свежую булку, запив все это тремя большими чашками чаю.

– Уехал в Бирмингем. Секретарь не мог ехать, так папу послали вместо него. Он повез всех голубей, клубных и наших, для завтрашних полетов.

Джо задумчиво ковырял вилкой в зубах. Значит, Альф бесплатно прокатится в Бирмингем на полеты голубей, которые назначены на субботу! Везет же некоторым!

Салли, критически наблюдавшая за Джо, пустила в него стрелу своего скороспелого остроумия.

– Смотрите не проглотите вилку, – предупредила она серьезным тоном. – А то она станет дребезжать, когда вы будете танцевать польку.

Джо надулся. Он отлично понимал, что Салли его терпеть не может, и, как он ни старался, ему не удалось расположить ее к себе. Когда Салли смотрела на него своими темными глазами, он испытывал неприятное чувство человека, которого видят насквозь. Иногда резкий иронический смех Салли, врывающийся в его самоуверенный разговор, приводил Джо в полное замешательство, лишал хладнокровия, заставлял мучительно краснеть.

Его кислая мина доставила Салли удовольствие: глаза у нее так и засверкали. Эта одиннадцатилетняя девочка обладала уже сильно развитым чувством юмора. Она весело продолжала его поддразнивать:

– Вы, должно быть, хорошо танцуете – у вас такие длинные ноги. «Вы умеете танцевать обратный вальс, мисс Сэнли?» – «Да, конечно, Джо... Ах, извините, я хотела сказать – мистер Гоулен». – «Так попробуем?» – «Да, пожалуйста, дорогой мистер Гоулен. Какая чудная музыка, не правда ли?.. Ох! Грубиян, вы наступили мне на мозоль!»

Салли была и в самом деле очень забавна, когда, скорчив уморительную гримасу, закатывала свои большие черные глаза, артистически подражая жеманному, брюзгливому тону Дженни:

– «Разрешите угостить вас мороженым, дорогая? Или, может быть, хотите требухи? Чудная требуха, прямо из коровы. Можете получить все эти завитые штучки». – Салли остановилась и кивком головы указала на потолок. – Мисс Сэнди завивается наверху. А вы знаете, что наша франтиха Дженни на ночь надевает на нос зажим – ну, которым мокрое белье закрепляют на веревке? Явилась час тому назад прямо из своего магазина (она не «служит», имейте в виду, служат только рабы), заставила греть ей утюги... ни за что ни про что дала мне оплеуху. Вот приятный характер, не правда ли, Джозеф? Советую вам подумать, пока не поздно.

– Ах, да замолчи ты, нахальная девчонка! – Он встал из-за стола и направился к двери.

Салли притворилась смущенной и жеманно зататорила:

– К чему такие церемонии, дорогой мистер Гоулен? Зовите меня просто Магги. И как не стыдно курить молодому человеку с такими м-и-иными глазами? О, не покидайте меня так скоро! – Она предусмотрительно загородила ему дорогу: – Позвольте, я спою вам песенку до вашего ухода, мистер Гоулен! Одну, и совсем коротенькую! – Она манерно сложила руки, точь-в-точь как Дженни у пианино, и запела высоким фальцетом:

Погляди на анютины глазки,
Что пестреют в нашем саду.

Пение прекратилось только тогда, когда за Джо захлопнулась дверь. Салли разразилась восторженным смехом, перекувырнувшись, бросилась со всего размаха на диван, свернулась калачиком на самом краю и от восторга забарабанила по пружинам.

У себя в комнате Джо побрился, вымылся, надел свой парадный синий костюм, повязал новый зеленый галстук, аккуратно зашнуровал блестящие коричневые ботинки. Все же он был готов раньше Дженни и нетерпеливо ожидал ее в передней. Но когда Дженни сошла вниз, у Джо дух захватило от восторга и он сразу перестал злиться: на ней было розовое платье, белые атласные туфельки, а на голове белый вязаный капор – последний крик моды. Серые глаза холодно блестели на прозрачном личике, нежном, как лепесток цветка. Она жеманно сосала ароматную пастилку.

– Честное слово, Дженни, вы просто загляденье!

Она приняла его восторг как нечто вполне естественное, накинула на свой наряд старое пальто, которое носила каждый день, взяла ключ от входной двери и сунула его в карман. Но тут ей бросились в глаза коричневые ботинки Джо. Углы ее губ опустились. Она сказала с раздражением:

– Я ведь еще неделю тому назад говорила вам, Джо, чтобы вы купили себе лакированные туфли.

– Пустяки, все наши ребята ходят на клубные вечера в таких, как у меня. Я у них нарочно спрашивал.

– Не говорите глупостей! Как будто я не знаю! Из-за ваших коричневых ботинок я буду казаться смешной... Наняли вы кеб?

«Кеб!» – Джо надулся. Что, она воображает, будто он – Карнеги? Он угрюмо возразил:
– Мы поедем в трамвае.

Глаза Дженни от гнева стали совсем ледяными:

– Ах так! Вот как вы, значит, ко мне относитесь! Я недостаточно хороша, по-вашему, чтобы ездить в кебе?

С верхней площадки раздался голос Ады:

– Дженни, Джо, не приходите поздно. Я приняла порошок и ложусь спать.

– Не беспокойся, ма, – ответила Дженни тоном оскорбленной добродетели. – Мы *конечно* придем рано.

Они успели вскочить в отходивший трамвай, но, к несчастью, он был переполнен. Теснота в трамвае еще больше рассердила Дженни, и она так посмотрела на кондуктора, когда он попросил Джо дать монету помельче, что кондуктор пришел в замешательство. Всю дорогу она молчала. Наконец приехали в Ерроу и вышли из битком набитого красного вагона. В холодном молчании, с видом оскорбленного достоинства Дженни дошла с Джо до «Зала Чудаков». Войдя, они увидели, что бал уже начался.

Вечер проходил неплохо, в атмосфере дружного непринужденного веселья и напоминал какое-нибудь ежегодное собрание родственников в большой счастливой семье зажиточного круга. На одном конце зала стояли столы, на которых был сервирован ужин: пирожные, сэндвичи, печенье, овощные консервы, груды мелких твердых апельсинов, по одному виду которых можно было безошибочно заключить, что они полны незрелых зернышек, бутылки колы с ярко-красными ярлыками и два огромных медных сосуда с кранами для чая и кофе. На другом конце зала, на очень высокой эстраде, замаскированной снизу пальмами в кадках, расположился оркестр – настоящий, с большим барабаном, который пускали в ход щедро, не жалея сил, а у рояля – Франк Макгарви. Таких чудесных веселых «штучек», как Франк, не умел играть никто. А так? Когда Франк Макгарви играет, танцующим просто невозможно сбиться с такта, – он замечательно отбивает его, словно молотом ударяет: *ля-до-ля-до*. Самый пол в «Зале Чудаков», казалось, взлетал при этом «ля» и опускался в такт финальному «до».

Люди собрались компанейские, никто не важничал, не держался особняком. На стенах, один против другого, были наклеены два больших листа писчей бумаги, на которых великолепным почерком сестры Франка Макгарви были перечислены все танцы в том порядке, в каком они должны были исполняться: 1. Вальс «Ночи веселья»; 2. Валетта «С вами в гондоле» и так далее. У этих листов весело толпилась публика, пересмеиваясь, вытягивая шеи, чтобы лучше видеть; пары подходили рука об руку, стоял смешанный запах духов и пота, раздавались восклицания. «Послушай, Белла, милочка, ты умеешь танцевать военный тустеп?» – так приглашали на танцы. Или какой-нибудь юный кавалер, внимательно просмотрев список, отважно скользил по усыпанному опилками полу и, с разбегу попав прямо в объятия своей избранницы, говорил ей: «Это лансье, детка, неужто ты не узнала мотив? Пошли танцевать!»

Дженни оглядела зал. Увидела жалкое угощение, программы, наклеенные прямо на запотевшие стены, дешевые, крикливые туалеты – ярко-красные, голубые и зеленые, смешной сюртук старого Маккенна, главного распорядителя. Заметила, что здесь многие не сочли нужным прийти в перчатках и бальных туфлях. Увидела кружок толстых пожилых жен пудлинговщиков, дружелюбно беседовавших в углу, пока их отпрыски прыгали и кружились на паркете перед ними. Все это Дженни успела охватить одним долгим взглядом и презрительно вздернула хорошенький носик.

– Фи! – фыркнула она, обращаясь к Джо. – Просто смотреть противно!

– На что?! – Джо изумленно воззрился на нее.

– Да на все, – отрезала она. – Все тут так неизящно, *вульгарно*, не так, как в приличном обществе.

– Неужели вы не будете танцевать?

Она равнодушно тряхнула головой:

– Отчего же... Потанцуем, пожалуй, раз за билеты заплачено. Пол здесь подходящий.

Они танцевали. Но Дженни при этом старалась держаться подальше от Джо и решительно отмежевывалась от происходившего вокруг – от всего этого хлопанья в ладоши, топанья и оглушительных криков веселья.

– А это еще что за фигура? – спросила она пренебрежительно, когда они, танцуя тустеп, проносились мимо двери.

Джо посмотрел через плечо. «Фигура» оказалась мужчиной самого безобидного вида, средних лет, плотного сложения, с круглой головой и несколько кривыми ногами.

– Это Джейк Линч, – пояснил Джо. – Кузнец в нашем цеху. Вы ему, кажется, понравились.

– Очень нужно! – сказала чопорно Дженни и, самодовольно усмехаясь, добавила, гордая своим остроумием: – Я видела таких только в зоологическом саду!

Она снова стала неразговорчива, надменно подняла брови, откинула голову с видом снисходительного превосходства, желая показать, что она «выше всего этого».

Но Дженни немного преждевременно осудила бал. К концу вечера начали появляться новые лица – и уже не рабочие, не рядовые члены клуба, как те, что с самого начала наводнили зал, а почетные гости: несколько чертежников из конторы, бухгалтер мистер Ирвинг с женой, кассир Морган и даже старый мистер Клегг – директор завода. Дженни немного оттаяла; она даже улыбнулась Джо:

– Здесь становится как будто приличнее.

Не успела она это сказать, как дверь распахнулась и появился Стэнли Миллингтон – сам мистер Стэнли, «наш» мистер Стэнли! Великая минута! Он вошел веселый, свежий, вылощенный, в щегольском смокинге, и с ним пришла его невеста.

Тут Дженни совсем воспрянула духом и пристальным взглядом впиалась в молодую элегантную пару, следя, как они улыбаются и пожимают руки старейшим членам клуба.

– Это с ним Лаура Тодд, – прошептала она, задыхаясь от волнения. – Знаете, дочь инженера Грот-Маркетских копеей. Я ее очень часто вижу у нас в магазине. Они обручились в августе, об этом писали в «Курьере».

Джо посмотрел на ее оживившееся лицо. Жадный интерес Дженни к «лучшему» обществу Тайнкасла, ее упоение своей осведомленностью о всех подробностях их жизни очень удивили его. Но зато она теперь окончательно отбросила свою холодную чопорность в обращении с ним.

– Отчего мы не танцуем, Джо? – пролепетала она и, встав, томно закружилась в его объятиях, стараясь держаться поближе к Миллингтону и мисс Тодд.

– Это платье, что на ней, – модель... прямо от Бонара, – конфиденциально шепнула она на ухо Джо, когда они проносились мимо. – У Бонара в Тайнкасле, конечно, последние новинки... А кружева... – Она многозначительно закатила глаза. – Знаете...

Веселье было в разгаре, гремел барабан, Франк Макгарви чаще прежнего импровизировал разные «штучки», пары кружились все быстрее, все неистовее. Люди были довольны тем, что молодой мистер Стэнли «нашел время прийти», да еще привез с собою мисс Лауру. Стэнли Миллингтона «одобряли» в Ерроу. Отец его умер несколько лет назад, когда Стэнли было всего семнадцать лет и он еще учился в Сент-Бидской школе. Таким образом, Стэнли прямо со школьной скамьи, румяным и стройным молодым атлетом с только начинающими пробиваться усиками, явился на завод, чтобы знакомиться с делом под руководством старого Генри Клегга. Теперь, когда ему уже было двадцать пять, он сам управлял заводом и, как неугомонный энтузиаст, всегда стремился, по его собственному выражению, «поступать правильно». Все соглашались, что Стэнли – человек с устоями, и добавляли: «Вот что значит хорошая школа».

Основанная за пятьдесят лет перед тем группой богатых купцов-диссидентов, Сент-Бидская школа за короткое время своего существования успела приобрести все традиции закры-

тых учебных заведений. Здесь так же на старших учениках лежала обязанность поддерживать дисциплину, а младшие всячески угождали старшим; так же делались вылазки в одну любимую кондитерскую; так же царил «*esprit de corps*»⁵; так же практиковалось хоровое пение для поднятия духа, – словом, можно было подумать, что доктор Фулер, директор Сент-Бидской школы, обошел все старые школы в Англии и сеткой для бабочек ловко вылавливал в каждой школе наилучшие из ее традиций. Спорту в школе придавалось громадное значение. Значки присуждались щедро, – в них сочетались цвета школы, красивые цвета – пурпуровый, алый и золотой. Стэнли, питавший горячую привязанность к своей школе, остался верен ее цветам: он всегда носил что-нибудь – галстук, запонки, подтяжки или подвязки – этих знаменитых цветов, пурпурового, алого и золотого, как бы отдавая дань уважения тому «духу порядочности», который был девизом их школы.

Эта-то «истинная порядочность» мистера Стэнли и побудила его явиться на вечер в клуб. Он хотел «поступать, как полагается порядочному человеку». И вот он пришел, был в высшей степени мил, пожимал мозолистые руки и в промежутках между вальсами с Лаурой танцевал несколько раз с тяжеловесными супругами своих старых служащих.

Вечер проходил, и радостная улыбка, которой расцвело лицо Дженни при виде «нашего» мистера Стэнли и Лауры Тодд, стала несколько натянутой; ее журчащий смех, который раздавался всякий раз, когда она скользила в танце мимо этой пары или мимо одного из них, звучал уже чуточку искусственно.

Дженни сгорала от желания быть замеченной мисс Тодд, ей до смерти хотелось, чтобы мистер Стэнли пригласил ее танцевать. Но, увы, ни того ни другого не случилось. Как обидно! А тут еще этот Джейк Линч! Он не спускал с нее глаз, ходил за ней следом, ища случая пригласить ее танцевать.

Джейк был парень неплохой, но, на беду, он был пьян. Все знали, что Джейк любит выпить рюмочку, а в этот вечер он, шмыгая все время из клуба в соседний трактир «Герцог Кумберлендский», проглотил изрядное количество таких рюмочек. На прежних балах Джейк обычно стоял у дверей зала, блаженно кивая головой в такт музыке, а к концу вечера уходил домой, нетвердо ступая своими кривыми ногами. Но в этот вечер злой демон Джейка парил близко.

Когда заиграли последний вальс перед ужином, Джейк поправил галстук и важно подошел к Дженни.

– Пойдем, милочка, – сказал он со своим протяжным тайнсайдским акцентом. – Мы с тобой сейчас всем им утрем нос!

Дженни вскинула голову и с подчеркнутым презрением устремила глаза куда-то в противоположный конец зала. А сидевший рядом с нею Джо сказал:

– Уходи прочь, Джейк. Мисс Сэнли танцует со мной.

Джейк, пошатываясь, возразил:

– А я хочу, чтобы она танцевала со мной. – И с неуклюжей галантностью протянул руку Дженни.

В жесте Джейка не было ничего грубого, но в ту минуту он покачнулся, и его громадная лапа невольно опустилась на плечо Дженни.

Дженни драматически взвизгнула. И Джо, вскочив, с внезапной яростью нанес Джейку ловкий удар в подбородок. Джейк во всю длину растянулся на полу. Шум в зале сразу утих.

– Что тут у вас такое? – Мистер Стэнли пробрался сквозь толпу к тому месту, где стоял Джо, геройски выпятив грудь и одной рукой обнимая бледную, испуганную Дженни. – Что случилось?

У храброго Джо сразу душа ушла в пятки. Он с добродетельным видом пояснил:

⁵ Сословный дух (*фр.*).

– Линч пьян, мистер Миллингтон, мертвецки пьян. Должен же человек знать меру и уметь вести себя! – В прошлую субботу Джо вместе с Линчем участвовал в грандиозной попойке, их обоих вывели из бара «Эмпайр», но сейчас он уже не помнил об этом, чувство собственного достоинства не позволяло вспомнить. – Он напился и приставал к моей знакомой, мистер Стэнли. Я только хотел ее защитить.

Стэнли посмотрел на стоящую перед ним пару: хорошо сложенный юноша... оскорбленная красавица. Затем, нахмурившись, перевел взгляд на лежавшего на полу пьяницу.

– Пьян! – воскликнул он. – Нет, это уж слишком, право! Этого я не потерплю! Мои рабочие – приличные люди, и я хочу, чтобы они могли прилично развлекаться. Уберите его отсюда! Мистер Клегг, попрошу вас распорядиться. И скажите ему, чтобы он завтра пришел в контору за расчетом.

Джейк Линч за непристойное поведение был выведен вон. На следующий день его уволили с завода.

Наведя порядок, Стэнли обратился к Джо и Дженни и улыбнулся, смягченный широкой улыбкой Джо и воздушной прелестью Дженни.

– Все в порядке, – сказал он успокоительно. – Вы Джо Гоулен, не так ли? Я вас отлично знаю. Я знаю всех своих рабочих, поставил себе это за правило. Познакомьте же меня с вашей дамой, Джо. Здравствуйте, мисс Сэнли. Мы с вами должны потанцевать, мисс Сэнли, чтобы загладить эту маленькую неприятность. А вас, Джо, разрешите представить *моей* невесте. Может быть, вы потанцуете с ней?

И Дженни в экстазе упорхнула в объятиях мистера Стэнли, держась самым великолепным образом, выпрямив по последней моде локоть, сознавая, что все глаза в зале устремлены на нее. А Джо неуклюже и торжественно выступал с мисс Тодд, которая, видимо забавляясь, поглядывала на него с некоторым интересом.

– А ловко вы его ударили, – сказала она с характерной для нее насмешливой гримаской.

Джо согласился, что удар был первоклассный. Он чувствовал себя героем – и все-таки сильно конфузился.

– Мне нравится, когда человек умеет за себя постоять, – небрежно пояснила мисс Тодд. Она снова усмехнулась. – И не держите себя так, словно вы вступили в орден праведных тамплиеров!

Стэнли, мисс Тодд, Дженни и Джо ужинали вместе. Дженни была на седьмом небе. Она улыбалась, показывая красивые зубки, обворожительно опускала темные ресницы; желе она ела вилок и от каждого блюда неизменно оставляла немножко на тарелке. Она была несколько шокирована, когда Лаура Тодд, взяв апельсин, преспокойно надкусила кожицу своими белыми зубами. Еще больше потрясло ее то, что Лаура без церемоний попросила у Стэнли его носовой платок. Но все, все было упоительно, упоительна каждая минута. И в довершение всего, когда вечер кончился, Джо, искупая свою давешнюю оплошность, с царственной щедростью нанял кеб. В последний раз обменялись любезностями, прокричали «до свидания», усердно помахали платками. Шурша юбками, трепеща от возбуждения, Дженни вошла в позеленевший от плесени экипаж, пахнувший мышами, похоронами, свадьбами, сыростью извозничьего двора. Вязаные шарики ее капора иступленно качались. Она откинулась на спинку сиденья.

– О Джо! – затараторила она. – Какой чудесный вечер! А я и не знала, что вы так хорошо знакомы с мистером Миллингтоном. Почему вы не говорили мне об этом раньше? Я понятия не имела... Он премилый. И она тоже, разумеется. Красивой ее назвать нельзя, зато какой шик! Платье, что было на ней сегодня, стоит не один десяток фунтов. Можете мне поверить, это последний крик моды, уж я-то знаю! А между прочим, вы заметили, как она надкусила апельсин? А носовой платок? Я чуть в обморок не упала!.. Никогда я бы себе не позволила сделать такую вещь! Это же неприлично! Да вы меня слушаете, Джо?

Он нежно уверил ее, что слушает. С той минуты, как он очутился с ней наедине в темном кебе, желание, которое в нем вызывала эта девушка, сжигало его, как лихорадка. Все его тело горело и напрягалось в стремлении к ней. Целый вечер она была в его объятиях, он ощущал под тонким платьем ее тело, прижимавшееся к нему во время танцев. В течение долгих месяцев Дженни держала его на почтительном расстоянии, а теперь она в его руках, одна с ним. В волнении ерзая на месте, Джо осторожно придвинулся ближе к Дженни, которая забилась в угол, и обнял ее одной рукой. А она продолжала болтать без умолку, счастливая, веселая, взбудораженная.

– Когда-нибудь и у меня будет такое платье, как у нее... у мисс Тодд. Шелк и настоящие кружева. Да, она знает толк в таких вещах. Могу поручиться, что и пожить умеет, это сразу видно.

Джо тихонько притянул ее к себе и шепнул как можно ласковее:

– Не хочу говорить о ней, Дженни. Я на нее никакого внимания не обратил. Я смотрел только на вас. Я только о вас и думаю!

Она хихикнула, очень довольная.

– Вы гораздо, гораздо красивее. И платье у вас в сто раз лучше, и все лучше, чем у нее.

– А между тем эта материя по два шиллинга четыре пенса, Джо. А выкройку я достала у Уэлдона.

– Ей-богу, Дженни, вы просто чудо! – Он продолжал хитро льстить ей. И чем больше льстил, тем смелее ласкал. Он чувствовал, что она возбуждена, вся натянута, как струна. Она позволяла ему то, чего никогда не позволяла раньше. Окрыленный успехом, сгорая от желания, Джо осторожно принимал все ближе.

Дженни вдруг резко вскрикнула:

– Не смейте! Не смейте, Джо! Ведите себя прилично!

– Ну полно, чего ты испугалась, милая? – успокаивал он ее.

– Нет, Джо, нет! Этого нельзя. Это нехорошо.

– Ничего в этом нет дурного, Дженни, – вкрадчиво нашептывал он ей. – Разве мы не любим друг друга?

Тактика его была превосходна. Не знаю, каковы были его успехи на бильярде, но в тонком искусстве соблазнителя Джо был далеко не новичок.

Чувствуя, что он плотно прижимается к ней, Дженни в волнении пробормотала:

– Не надо, Джо... не *здесь*, Джо.

– Ах, Дженни...

Но она сопротивлялась:

– Смотри, Джо, мы уже совсем близко. Смотри, Пламмер-стрит. Мы уже почти дома. Пусти меня, Джо. Пусти же.

Он недовольно поднял с ее шеи разгоряченное лицо и увидел, что она говорит правду. Разочарование было так сильно, что он чуть не выругался вслух, но взял себя в руки и, выйдя из кеба, помог выйти Дженни. Потом бросил шиллинг «пугалу на козлах» и стал подниматься по лестнице вслед за девушкой. Линии ее фигуры, даже простой жест, которым она достала ключ и вставила его в замочную скважину, сводили его с ума. Тут он вспомнил, что Альф, ее отец, сегодня не ночует дома.

В кухне, освещенной только огнем в камине, Дженни остановилась перед Джо и взглянула ему в лицо: несмотря на оскорбленное целомудрие, ей, видимо, не хотелось идти спать. Она была возбуждена необычностью всего пережитого сегодня, и успех в клубе еще кружил ей голову. Она стояла с немного застенчивым видом:

– Может быть, зажечь газ и сварить вам какао, Джо?

Джо с трудом скрывал раздражение и откровенное желание схватить ее:

– Вы никогда ничем не порадуете человека, Дженни. Подите сюда, посидите минутку со мной на диване. Мы за весь вечер и словом не перемолвились.

Настороженная, немного испуганная, она стояла в нерешительности. Проститься и пойти спать? Это скучно... А Джо сегодня так красив!.. И вел себя молодцом – нанял кеб...

Дженни сказала, посмеиваясь:

– Что ж... от *разговора* вреда никакого не будет, – и подошла к дивану.

Как только она села, Джо крепко обнял ее. Сейчас это оказалось легче, чем в кебе: Дженни вырывалась как-то нехотя. Он угадывал ее возбуждение, видел, что она еще вся трепещет от впечатлений этого вечера.

– Не надо, Джо... не надо... Мы должны вести себя прилично, – твердила она, сама не понимая, что говорит.

– Нет, Дженни, *надо*. Ты знаешь, что я с ума по тебе схожу. Ведь мы любим друг друга.

Покоренная, испуганная, сопротивляясь и вместе отдаваясь, обессиленная страхом, болью и каким-то новым, незнакомым ощущением, Дженни шепнула одним дыханием:

– Пусти, Джо... ты делаешь мне больно, Джо!

Он понял, что теперь она принадлежит ему, понял с дикой радостью, что перед ним наконец настоящая Дженни...

Огонь в камине догорал. Решетка опустела. Когда все уже было кончено, Дженни, похныкав, сколько полагается, внезапно зашептала:

– Обними меня крепко, Джо... крепче, дорогой!

Нет, можно ли этому поверить?! А он лежит в чертовски неудобной позе, и волосы Дженни лезут ему в рот. Когда она прильнула к нему, подставив его губам бледное, мокрое от слез, милое личико, теперь лишенное всякого глупого притворства, она была так же естественна и прекрасна, как одна из жемчужно-серых голубок ее отца. Но Джо в эту минуту почти готов был... да, готов был ударить ее. Имелось, впрочем, смягчающее вину обстоятельство: как он и сказал Дженни, это была его первая настоящая любовь.

XII

В «Холме» субботний вечер имел свою раз навсегда установленную программу. После холодного ужина Хильда играла отцу на органе. И в этот вечер последней субботы ноября 1909 года, в восемь часов, Хильда играла «Музыку на воде» Генделя, а Баррас сидел в своем кресле, опершись головой на руку, и слушал. Хильда не любила играть в присутствии отца. Но играла. Это входило в ее обязанности.

Ричард Баррас крепко держался установленного им порядка. Это не значит, что он был рабом привычек, – они не имели власти над ним. И традиция также была для него не повелительницей, а скорее эхом, постоянно вторящим его принципам. Чтобы понять Ричарда Барраса, необходимо принять во внимание его принципы. Потому что он действительно был принципиальный человек, не лицемер. Он был искренен.

Он был также человеком нравственным. Он презирал слабости, которым так часто и таким роковым образом предаются люди. Он, например, не способен был и подумать об измене Гарриэт с какой-нибудь другой женщиной. Несмотря на свои немощи, Гарриэт была ведь его женой! Он презирал и другие, более грубые вожделения: пристрастие к роскоши, к обильной еде и вину, обжорство, пьянство, сибаритство, чувственность, всякие эксцессы, все виды физической распушенности внушали ему омерзение. Он ел простую пищу и обычно пил только воду. Он не курил. Его костюмы были сшиты хорошо и из добротной материи, но их у него было мало, и он не отличался суетной страстью к щегольству.

У него, разумеется, была своя гордость, естественная гордость просвещенного либерала. Он всегда помнил, что он человек с положением и состоянием, владелец копеек, которыми их род владеет вот уже сто лет. Он искренне гордился своими предками, начиная от Питера Барраса, который в 1805 году впервые углубил шахту № 1 на «Снуке» (в нынешнем старом «Нептуне») и оставил своему сыну Вильяму отлично налаженное небольшое предприятие. Вильям, в свою очередь, проложил шахты № 2 и 3. А отец Ричарда, Питер Вильям, предпринял бурение шахты № 4, – это было разумное дело, из которого его сын теперь извлекал огромную пользу. Ричард с глубоким удовлетворением думал об этих дальновидных, трезво мыслящих людях, создавших своим потомкам имя и состояние. Гордился он и тем, что унаследовал и развил в себе качества предков, гордился собственной дальновидностью и здравомыслием, своим умением выгодно заключать сделки.

Он не проявлял откровенного честолюбия. Когда при нем заходил разговор о каком-нибудь видном лице в графстве, Баррас всегда спрашивал спокойно: «А какой у него капитал?», с кроткой насмешкой констатируя, что сосед располагает самыми ничтожными средствами. Таким образом, Баррас, принимая с удовольствием дань уважения со стороны своего банкира и своего адвоката, не был снобом, – он презирал такие мелочные чувства. На Гарриэт Уондлес, принадлежавшей к одной из знатных фамилий графства, он женился не ради ее высокого происхождения, а просто потому, что хотел, чтобы она стала его женой.

Это наводит на мысль о страсти. Но Баррас не производил впечатления человека с сильными страстями. Он был подавляюще-сильной личностью, – но то была сила уравновешенная, холодная как лед. Ему не были свойственны стремительность, неистовые страсти, порывы пламенного чувства. То, что ему было чуждо, он отвергал; тем, что не было чуждо, он завладевал. Показания Гарриэт, которой он обладал в тиши ее спальни, конечно дали бы ключ к разгадке этого человека. Но Гарриэт наутро после этих регулярных ночных идилий просто с аппетитом съедала обильный завтрак, наслаждаясь им со спокойным удовлетворением хорошо выдоенной коровы. Это единственное биологическое свидетельство могло быть и положительным и отрицательным, других свидетельств не допускала скромность Гарриэт.

Сам же Ричард редко обнаруживал себя. Он был человеком замкнутым. Эта замкнутость, несомненно, была достоинством. Не обычная скрытность, а нечто более тонкое – замкнутость человека, сурово негодующего на попытки копаться в его душе и одним взглядом замораживающего всякую фамильярность. Он, казалось, говорил ледяным тоном: «Я – это я, и останусь самым собой, и никому, кроме меня, до этого дела нет. Я сам собой управляю и никому другому управлять собой не позволю».

Не надо, однако, думать, что все внутреннее существо Ричарда было целиком отлито в эту шаблонную форму. У него имелись свои индивидуальные особенности. Например, любовь к органу, к Генделю, в особенности к его «Мессии», приверженность к искусству, здоровому и общепризнанному искусству, о чем свидетельствовали дорогие картины на стенах его дома, верность семейному очагу, прочно укоренившаяся привычка к точности и аккуратности и, наконец, страсть к приобретению.

В ней-то, в этой страсти, и крылась разгадка души Барраса, самая сущность его «я». Он был крепко привязан ко всему, что составляло его собственность, – к своим копиям, дому, картинам, имуществу, ко всему, что принадлежало ему. Отсюда ненависть ко всякого рода мотовству, бледным отражением которой была выработавшаяся у тетушки Кэрри бережливость, ее неспособность что-нибудь выбросить. Тетушка часто обнаруживала эту черту, к полному удовлетворению Барраса. Он и сам никогда ничего не выбрасывал. Газеты и бумаги всякого рода, старые квитанции и договоры – все он аккуратно складывал в пачки, надписывал их и запирали в свой письменный стол. Это надписывание и складывание в ящик превратилось чуть ли не в священный ритуал. Он придавал ему какой-то высший смысл. Между этим занятием и его любовью к Генделю существовала некая гармония. Здесь был тот же внушительный размах и глубина и что-то вроде религии, недоступной чужому пониманию. А между тем источником ее была просто алчность, ибо больше всего душу Барраса снедала тайная страсть к деньгам. Он искусно скрывал ее от всех и даже от себя самого, но он обожал деньги. Он держался за них цепко, тешился ими, этим сверкающим олицетворением своего богатства, своей реальной ценности в мире.

Хильда перестала играть. Наконец-то покончено с Генделем, во всяком случае с этой «Музыкой на воде»! Обычно она, окончив, укладывала ноты обратно на табурет у рояля и сразу уходила к себе наверх, но сегодня Хильда, по-видимому, хотела угодить отцу. Не отводя глаз от клавиатуры, она спросила:

– Может быть, сыграть тебе «Largo», папа?

То была его любимая вещь, пьеса, которая производила на него большее впечатление, чем все остальные. Хильду же доводила чуть не до истерики.

Сегодня она сыграла ее медленно, в торжественном темпе.

Наступила тишина. Не отнимая руки от лба, отец сказал:

– Спасибо, Хильда.

Она поднялась и стояла по другую сторону стола. Лицо ее было угрюмо, как всегда, но внутренне она трепетала.

– Папа! – начала она.

– Что, Хильда?

Хильда тяжело перевела дух. Много недель собиралась она с силами для этого разговора.

– Мне скоро двадцать лет, папа. Вот уже почти три года, как я окончила школу и вернулась домой. И все это время я здесь ничего не делаю. Мне надоело бездельничать. Мне хочется чем-нибудь заняться. Позволь мне уехать отсюда и работать.

Баррас опустил руку, которой заслонял глаза, и смерил дочь любопытным взглядом, затем повторил:

– Работать?!

– Да, работать! – сказала она стремительно. – Позволь мне учиться чему-нибудь или найти себе какую-нибудь службу!

– Службу? – Все тот же тон холодного удивления. – Какую службу?

– Да любую. Ну хотя бы быть твоим секретарем. Или сестрой милосердия. Или отпусти меня на медицинский факультет. Этого мне больше всего хочется.

Он снова с легкой иронией посмотрел на нее:

– А как же будет, когда ты выйдешь замуж?

– Никогда я не выйду замуж! – вскипела Хильда. – Я и думать об этом не хочу. Я слишком безобразна, чтобы когда-нибудь выйти замуж.

Холодное выражение скользнуло по лицу Барраса, но тон его не изменился. Он сказал:

– Ты начиталась газет, Хильда!

Его догадливость вызвала краску на бледном лице Хильды. Это была правда: она прочла утреннюю газету. Накануне на Даунинг-стрит суфражистки устроили демонстрацию во время заседания парламента, и произошли скандалы при попытках некоторых из них ворваться в палату общин. Это послужило Хильде толчком к окончательному решению.

– «Была сделана попытка ворваться... – процитировал Баррас на память, – ворваться в здание палаты общин». – Он сказал это так, как говорят о последней степени безумия.

Хильда в бешенстве закусила губы, повторила:

– Папа, позволь мне уехать и изучать медицину. Я хочу быть врачом.

– Нет, Хильда.

– *Отпусти!* – В ее голосе звучала отчаянная мольба.

Отец ничего не ответил.

Наступило молчание. Лицо Хильды побелело как мел. Баррас с интересом созерцал потолок. Это продолжалось с минуту, затем Хильда без всякого мелодраматизма повернулась и вышла из комнаты.

Баррас, казалось, не заметил ухода дочери. Хильда нарушила незыблемую традицию – и он закрыл свою душу для Хильды.

Просидев неподвижно с полчаса, он встал, заботливо выключил газ и пошел в свой кабинет. В субботние вечера после игры Хильды он всегда уходил к себе в кабинет. Это была большая, комфортабельно обставленная комната с толстым ковром на полу, массивным письменным столом, темно-красными портъерами, закрывавшими окна, и несколькими фотографиями шахты на стенах. Баррас сел за свой стол, достал связку ключей, долго, с кропотливым усердием выбирал нужный ему ключ и наконец отпер средний верхний ящик стола. Оттуда он вынул три обыкновенные счетные книги в красных переплетах и привычным жестом начал их перелистывать. Первая содержала перечень его вкладов, который он сам написал своим аккуратным почерком. Он сосредоточенно просматривал книгу, и довольная, несколько двусмысленная усмешка скользила по его губам. Он взял перо и, не обмакивая его в чернильницу, осторожно водил им по рядам цифр, но вдруг остановился и глубоко задумался, мысленно решая продать привилегированные акции Объединенных копей. В последнее время они стояли очень высоко, но он имел неблагоприятные конфиденциальные сведения относительно доходности этих предприятий. Да, акции надо будет продать. Он опять слабо усмехнулся, похвалив себя мысленно за безошибочный инстинкт дельца, за коммерческую жилку. Он никогда не делает промахов. Каждая из ценных бумаг, записанных в этой книге, была твердопроцентной, надежной, имела солидное обеспечение. Он снова сделал беглый подсчет. Результат привел его в хорошее настроение.

Потом он занялся второй книгой. Она содержала сведения о его домах в Слискейле и окрестностях. На Террасах большинство домов было собственностью Барраса (он не мог примириться с тем, что мясник Ремедж владел половиной Балаклавской улицы), а в Тайнкасле ему принадлежали целые кварталы домов, в которых комнаты сдавались понеделельно. Эти дома

у реки, где квартирную плату собирал специальный сборщик, давали колоссальный доход. Ричарду Баррасу не приходилось жалеть о скупке этих домов. Идея принадлежала ему, но всем делом ведал Бэннерман, его поверенный, на скромность и благоразумие которого можно было положиться. Баррас записал себе для памяти, что надо поговорить с Бэннерманом относительно расходов.

И наконец, с чувством облегчения, любовно придвинул он к себе третью книгу. Это был список его картин с указанием сумм, уплаченных за них. Он благодушно просматривал цифры. Ему было приятно, что на картины истрачено двадцать тысяч фунтов – целое состояние. Что ж, это тоже выгодное помещение капитала. Картины все тут, на стенах его дома, они будут цениться все выше, станут редкостью, как полотна Тициана и Рембрандта... Впрочем, больше покупать не надо. Отдал дань искусству – и хватит.

Он взглянул на часы и прищелкнул языком, увидев, что так поздно. Бережно спрятал книги, запер на ключ ящик и пошел к себе в спальню. Там он опять вынул часы и завел их, налил себе воды из графина, стоявшего на столике у постели, и начал раздеваться. В спокойных движениях его большого, сильного тела была какая-то сосредоточенность, неизменность. Движения эти были равномерны, систематичны. Они не допускали возможности других движений. В каждом сказывалась обдуманная забота о себе. Сильные белые руки имели свой собственный немой язык. Они как бы приговаривали: «Вот так... так... лучше всего сделать это таким образом... для меня так лучше всего. Может быть, это делается и другим способом... но *мне* удобнее всего так... Мне...» В полумраке спальни символический язык этих рук таил в себе какую-то загадочную угрозу.

Наконец Баррас окончил приготовления ко сну. Накинув темно-красный халат, с минуту стоял, поглаживая подбородок, потом неторопливо зашагал по коридору.

Хильда, сидевшая в темноте у себя в комнате, услышала тяжелые шаги отца: он вошел в расположенную рядом спальню матери. Девушка вся сжалась и словно застыла. На лице ее выразилась мука. В отчаянии пыталась она заткнуть уши, чтобы не слышать, но не могла. Ей никогда это не удавалось. Шаги слышались уже в комнате. Разговор вполголоса. Потом глухой, медленный скрип. Хильда содрогнулась всем телом. В муке отворачивания она ждала. И услышала знакомые звуки.

XIII

Джо сидел, развалившись, в комнате своих хозяев на Скоттсвуд-роуд, не обращая ни малейшего внимания на Альфа Сэнли, который у стола читал вслух статью капитана Санглера о скачках в Госфортском парке. Сегодня Джо и Альф собирались на скачки, но Джо, если судить по хмурому выражению его лица и презрительному невниманию к сообщениям капитана Санглера, по-видимому, не слишком восхищала эта перспектива. Объевшись за обедом, он полулежал в кресле, вытянув ноги на подоконник, и предавался мрачным размышлениям.

– «На состязаниях я смело ставлю на Несфилд лорда Келла против Элдон Плэйт, считая первой фавориткой эту хорошо тренированную кобылу...» – монотонно гудел голос Альфа, в то время как глаза Джо угрюмо блуждали по комнате. Боже, какое тошнотворное место! Что за дыра! И только подумать, подумать только, что он, Джо, больше трех лет мирился с этим! Да, почти четыре года. Неужели ему еще долго торчать тут? Трудно поверить, что так незаметно промчалось время, а он все еще здесь, как выброшенный на берег кит. Черт побери, да где же его честолюбивые мечты? Что же, он всю жизнь так и будет тут пропадать?

Впрочем, по трезвом размышлении положение его показалось Джо не таким уж скверным. На заводе он эти четыре года зарабатывал довольно прилично. Да, прилично... но это еще не значит хорошо, этого далеко не достаточно для Джо Гоулена! Он теперь работал пудлинговщиком и получал регулярно три фунта в неделю. А в двадцать два года это уже кое-что! Его все знают и любят (сквозь угрюмость Джо пробилась слабая усмешка самодовольства), – даже удивительно, до чего любят! Он на заводе «свой парень». И сам мистер Миллингтон, видно, интересуется им: всегда останавливается и заговаривает с ним, когда обходит мастерские. Но из всего этого до сих пор никакого толку не вышло. «Да, ничего, черт возьми!» – думал Джо хмурясь.

Чего он достиг? У него теперь не один, а три костюма, три пары коричневых ботинок и куча модных галстуков, и деньжонки всегда есть в кармане. Он окреп физически, даже выступал на состязаниях по боксу в Сент-Джеймс-холле. Он приобрел сноровку в некоторых делах и знал в городе все ходы и выходы. Ну а еще что? «Ничего, ровно ничего!» – твердил про себя Джо, все более мрачней. Он остался таким же рабочим, живет в чужой квартире, не так богат, чтобы можно было пускать людям пыль в глаза, и все еще... все еще не развязался с Дженни.

Джо беспокойно заерзал на месте. Дженни олицетворяла собой вершину всех его несчастий, грядущий кризис, она-то и была причиной его нынешней угрюмости. Дженни влюбилась в него, вешалась ему на шею. Надо же было ему впутаться в такую историю! Сначала это, конечно, щекотало его самолюбие. Недурно было, что Дженни бежит за ним и виснет на его руке, когда он, выпятив грудь, лихо сдвинул шляпу на затылок и щеголяя коричневыми ботинками, гулял с нею по улицам.

Но сейчас это уже не веселило его, как прежде, прыти в нем сильно поубавилось. Дженни ему надоела... Впрочем, это, пожалуй, слишком сильно сказано. Она была так податлива, соблазнительна, и тайная любовь между ними, бешеное утление желаний урывками – то в этой самой комнате, то в его комнате, то вне дома, в темноте, в чужих подъездах, за Эльсвикскими конюшнями, в самых странных и неожиданных местах, – все это еще не потеряло своей прелести. Но теперь это было слишком легко. Уже не приходилось преодолевать сопротивление Дженни. В ней даже замечался некоторый пыл, а иногда и обида, если Джо слишком долго оставлял ее одну. Проклятие! Он теперь все равно что женат.

А жениться он не хотел ни на этой, ни на какой-либо другой Дженни. Связать себя на всю жизнь – нет, благодарю покорно! Он слишком умная птица, чтобы попасться в эти силки. Ему надо идти вперед, выбиться в люди, накопить денег. Он хочет снимать сливки, а не пить снятое молоко.

Джо насупил брови. Слишком много места Дженни заняла в его жизни, слишком меняет эту жизнь! Она его просто угнетает. Вот, например, еще сегодня, услышав, что он едет с ее отцом в Госфорт, а ее оставляет дома, она вдруг залилась слезами и успокоилась только тогда, когда он обещал взять ее с собой. Сейчас она нарядится наверху.

Эх, пропади все пропадом! Джо вдруг с бешеной злобой пнул ногой стоявшую перед ним табуретку. Альф перестал читать и посмотрел на него с кротким изумлением.

– Да вы не слушаете, Джо, – сказал он протестующе. – Для чего же мне трудить глотку, раз вы не слушаете?

– Этот парень ни черта не понимает, – ворчливо отозвался Джо. – Наверно, он свои сведения получает прямо от лошадей, а лошади врут. Я разужаю все, что надо, на месте, у Дика Джоби. Мы с ним приятели, и это такой человек, на которого можно положиться.

Альф отрывисто захохотал:

– Да что с вами, Джо? Вот уже десять минут, как я перестал читать о лошадях. Я читал сейчас о новом аэроплане, который построил этот малый, Блерио, – знаете, тот, что в прошлом году перелетел через Канал.

– У меня у самого когда-нибудь будет целая флотилия этих чертовых аэропланов. Вот увидите! – буркнул Джо.

Альф покосился на него из-за газеты.

– Посмотрим! – согласился он с жестоким сарказмом.

Дверь открылась, и вошла Дженни. Джо сердито взглянул на нее:

– Наконец-то ты готова!

– Готова, – весело подтвердила она. С лица ее исчез всякий след недавних слез, и, как это часто с нею бывало после взрыва слезливого раздражения, она казалась безмятежно-счастливой и веселой, как жаворонок.

– Как тебе нравится моя новая шляпа? – спросила она с плутовским выражением, наклоня голову к Джо. – Прехорошенькая, не правда ли, мистер?

При всем своем скверном настроении Джо не мог не признать, что Дженни сейчас очень мила. Новая шляпа, очень эффектно надетая, оттеняла ее бледную красоту. Фигура у нее была прекрасная, чудесные линии ног и бедер. С потерей девственности она еще похорошела: казалась теперь более уверенной и зрелой, не такой анемичной, в ней было больше «блеска», – красота ее приближалась к полному расцвету.

– Ну что же, пойдем, – торопила она со смехом. – Скорее, папа. Не заставляйте меня ждать, мы опоздаем.

– Это тебя-то заставляют ждать! – возмутился Джо.

Альф соболезнующе покачал головой и вздохнул:

– О женщины!

Они втроем поехали на трамвае к Госфортскому парку. Дженни сидела между обоими мужчинами, подтянутая, веселая. Трамвай, грохоча и подсакивая, двинулся по Северной дороге.

– Я сегодня хочу выиграть немного денег, – конфиденциально сообщила Дженни, похлопывая по своей сумочке.

– Не ты одна, – сухо ответил Джо.

Они вошли на трибуну, где место стоило два шиллинга и было уже довольно много народу – достаточно, чтобы развлечь Дженни, но не столько, чтобы ей показалось тесно. Все приводило ее в восхищение: белая ограда на ярко-зеленом фоне ипподрома, цветные костюмы жокеев, красивые лошади, на которых шерсть так и лоснилась, крики букмекеров под большими золотистыми и синими зонтами, движение, шум, возбуждение на трибуне, модные туалеты, возможность увидеть довольно близко, в отгороженной части ипподрома, разных знаменитостей.

– Смотри, Джо, смотри! – то и дело вскрикивала она, хватая его за руку. – Вот лорд Келл! Настоящий джентльмен, правда?

Лорд Келл, «вождь» британского спорта, миллионер и владелец больших имений, цветущий, добродушный на вид мужчина с бакенбардами, разговаривал с каким-то тщедушным человечком – своим жокеем Лью Лестером.

Джо завистливо проворчал:

– Он сильно ошибается, если воображает, что его Несфилд возьмет приз.

И он отправился разыскивать Дика Джоби.

Добраться до Дика оказалось делом нелегким, так как он был на десятишиллинговой трибуне. Но через другого букмекера Джо удалось вызвать Дика к ограде.

– Извините за беспокойство, мистер Джоби, – начал Джо с заискивающей любезностью. – Мне только хотелось спросить, не посоветуете ли вы что-нибудь? Я не о себе хлопочу, – я никогда не гонюсь за выигрышем, но со мною тут моя девушка и ее папаша... и она, знаете ли, будет плясать от радости, если выиграет здесь пару шиллингов.

Дик Джоби постукивал по ограде концом элегантного черного ботинка с видом любезным, но уклончивым. Букмекеров принято представлять себе багроволицыми толстяками, говорящими только одним углом рта, тогда как в другом углу торчит толстая сигара. Но Дик Джоби из Тайнкасла всем своим видом опровергал это общепринятое представление. Дик был букмекер, и букмекер очень крупного масштаба, имел свою контору в Биг-Маркете и отделение в Ерроу, против католического костела. Но Дик курил только самые слабые папиросы и пил одну лишь минеральную воду. Это был симпатичный, спокойный, ласковый человек среднего роста, просто одетый; он никогда не ругался, не выкрикивал ставок, как другие букмекеры, и ни на каких ипподромах, кроме местного в Госфортском парке, его не встречали. Среди его многочисленных друзей ходили слухи, будто Дик раз в год приезжал в Госфорт для того только, чтобы собирать на лугу лютики.

– Так не скажете ли вы, мистер Джоби, что я мог бы посоветовать моей подружке?

Дик Джоби внимательно посмотрел на Джо. Ему нравился тон, которым говорил с ним Джо. Он видел Джо в Сент-Джеймс-холле на состязаниях в боксе. Словом, он чувствовал, что Джо «подходящий парень». А так как Дик питал слабость к «подходящим парням», то он иногда давал Джо поручения. И Джо неумоимо старался втереться к нему в доверие.

Наконец Дик сказал:

– Я бы ей не советовал ставить что-нибудь до последнего рейса, Джо.

– Хорошо, мистер Джоби.

– А к концу пускай поставит какую-нибудь мелочь. Немного, знаете ли, – ну, скажем, полкроны для забавы.

– Слушаю, мистер Джоби.

– Разумеется, никогда нельзя предвидеть...

– Разумеется, нельзя, мистер Джоби. – Взволнованное молчание. – Вы рекомендуете Несфилд, мистер Джоби?

Дик отрицательно покачал головой:

– Нет, эта не имеет никаких шансов. Пусть ваша дама поставит на Бутон Гвоздики. Ровно пол кроны, не больше, слышите? И просто так, для забавы.

Дик, улыбаясь, кивнул Джо и спокойно отошел. Трепеща от гордости, Джо протолкался обратно к Альфу и Дженни.

– Ах, Джо, где ты был? – упрекнула его Дженни. – Первый рейс прошел, а я еще ни разу ничего не поставила.

Джо, вернувшийся в отличном настроении, заверил ее, что теперь она может ставить сколько душе угодно. Он терпеливо слушал, как она и Альф рассуждали, на каких лошадей ставить. Дженни склонна была выбирать лошадей с самыми красивыми именами, с самыми

красивыми цветами жокеев или тех, которые принадлежали видным людям. Джо, сияя, одобрял ее выбор. Все с той же кротостью он брал у нее деньги и ставил на выбранных ею лошадей. Дженни проиграла раз, другой, третий.

– Нет, это уже чересчур! – воскликнула она, совсем расстроенная, в конце четвертого рейса. Ей так хотелось выиграть! Дженни не была скупа, наоборот – она была непозволительно щедра и ничуть не жалела о потерянных полукронах. Но выиграть было бы так приятно!

Альф, упрямо следовавший советам капитана Санглера, успокоил ее:

– Мы вернем все на Несфилде, девочка. Эта лошадь получит сегодня первый приз.

Тайно злорадствуя, Джо слышал, как он ставил на одну только Несфилд.

Дженни нерешительно изучала программу.

– Я не очень-то доверяю вашему старому капитану, – заметила она. – А ты что думаешь, Джо?

– Как тут угадаешь? – сказал Джо с простодушным видом. – Ведь это кобыла лорда Келла, да?

– Да, да. – Дженни просияла. – Я и забыла об этом. Пожалуй, я поставлю на Несфилд.

– А может быть, лучше на Бутон Гвоздики? – рискнул предложить Джо довольно безразличным тоном.

– Никогда не слышал о такой лошади, – поспешно вставил Альф.

– Нет, Джо... Для меня ты поставь на лошадь лорда Келла.

Джо собрался уходить:

– Ладно, делай как знаешь. А я, пожалуй, поставлю на Бутон.

Он вынул все деньги, какие имел при себе, четыре фунта, и смело поставил их на Бутон Гвоздики. Он стоял у перил, крепко ухватившись за них, и следил, как лошади, сбившись все вместе, огибали поворот. Они неслись все быстрее и быстрее. Джо весь вспотел и едва осмеливался дышать. С бьющимся сердцем он смотрел, как они неслись по прямой перед финишем, как приближались к столбу. Затем он испустил дикий вопль: Бутон Гвоздики пришла первой, опередив других лошадей на добрых два корпуса.

В ту же минуту, как объявили результаты, он забрал свой выигрыш, запихал четыре пятифунтовые бумажки поглубже во внутренний карман, а четыре соверена небрежно опустил в карман и с гордым видом пошел обратно к Дженни.

– Ах, Джо! – Дженни чуть не плакала. – Отчего я не...

– Да, отчего ты не... – передразнил ее Джо, захлебываясь от удовольствия. – Надо было слушаться моего совета. Я выиграл целую кучу денег. И не говори, что я тебя не предупреждал. Сказал же я тебе, что поставлю на Бутон. У меня эта лошадь все время была на примете.

Он был в таком восторге от своей ловкости, что готов был сам себя обнять. Бледное, удрученное лицо Дженни рассмешило его. Он сказал покровительственно:

– Нечего расстраиваться из-за этого, Дженни. Я свезу тебя куда-нибудь сегодня вечером. Покутим на славу!

При выходе из парка они ловко ускользнули от Альфа. Им приходилось это проделывать и раньше, а на этот раз было совсем нетрудно. Альф плелся, опустив голову, мысленно проклиная капитана Санглера, и не заметил их маневра.

Они приехали в Тайнкасл в начале седьмого и пошли по Ньюгейт-стрит к Хэй-Маркет. Мрачное настроение Джо бесследно исчезло, сметенное порывом хвастливого великодушия. Он обращался с Дженни ласково, с размашистой любезностью и даже снизошел до того, что позволил ей взять себя под руку.

Когда они повернули на Нортумберленд-стрит, Джо вдруг остановился как вкопанный и ахнул:

– Господи, неужели он?! Не может быть! – Потом заорал: – Дэви! Эй, Дэви Фенвик, дружище!

Дэвид остановился, обернулся. По его лицу видно было, что он не сразу узнал Джо.

– Джо, ты? Не может быть!

– Ну конечно я! – весело прокричал Джо, с шумной приветливостью кидаясь к Дэвиду. – Я, и никто другой. В Тайнкасле есть только один Джо Гоулен.

Все трое захохотали. Джо самым великосветским образом представил Дженни:

– Это мисс Сэнли, Дэви. Моя маленькая приятельница. А это Дэви, Дженни, верный товарищ Джо в добрые старые времена.

Дэвид посмотрел на девушку, заглянул в большие ясные глаза и улыбнулся в ответ на ее улыбку. На лице его мелькнуло восхищение. Они очень вежливо пожали друг другу руки.

– А мы с Дженни как раз собирались где-нибудь перекусить, – заметил Джо, безапелляционно принимая на себя роль распорядителя. – Теперь мы пойдем все вместе. Ведь ты тоже не прочь пожевать чего-нибудь, Дэви?

– Очень хорошо, – с энтузиазмом согласился Дэвид. – Мы совсем близко от Нан-стрит. Давайте махнем к Локкарту.

Джо чуть с ног не свалился.

– К Локкарту! – повторил он, обращаясь к Дженни. – Нет, ты слышишь? К Локкарту!

– Да почему же нет? – спросил Дэвид растерянно. – Это отличное место. Я часто захожу туда по вечерам выпить чашку какао.

– Ка-ка-о! – слабо простонал Джо, делая вид, что хватается за фонарный столб, чтобы не упасть. – Что, он принимает нас за парочку святош-трезвенников?

– Веди себя прилично, Джо, пожалуйста, – умоляла Дженни, с притворной застенчивостью поглядывая на Дэвида.

Джо, приняв драматическую позу, подошел к Дэвиду.

– Послушай, мальчик, ты уже не в шахте. Ты в настоящее время находишься в обществе мистера Джо Гоулена. И угощает *он*. Так что помалкивай и иди за мной.

Ничего больше не говоря, Джо сунул под мышку большой палец и зашагал вперед по Нортумберленд-стрит к ресторану Перси. Дэвид и Дженни шли за ним. Они вошли в ресторан, заняли столик. Джо держался с великолепным апломбом. Он очень любил щеголять непринужденностью и изяществом манер. В ресторане Перси он чувствовал себя как дома. За последний год они часто бывали тут с Дженни. Ресторан был небольшой, второстепенный, но обставленный с вульгарной претензией на роскошь: всюду позолота, множество ламп под красными абажурами. Эта пристройка к соседнему трактиру известна была под именем «Погребок Перси». В ресторане имелся только один лакей с заткнутой за жилет салфеткой, который с раболепной услужливостью подбежал на повелительный оклик Джо.

– Что вы оба будете пить? – спросил Джо. – Себе я закажу виски. Тебе чего, Дженни? Портвейн, да? А тебе, Дэви? Смотри, парень, не вздумай сказать «какао».

Дэвид усмехнулся и сказал, что сейчас он предпочтет пиво.

Когда бутылки и стаканы были поданы, Джо заказал богатый ужин: котлеты, сосиски и жареную картошку. Потом развалился на стуле, критически разглядывая Дэвида. Он нашел, что Дэви вытянулся, возмужал и даже похорошел. Он спросил с внезапным любопытством:

– Что ты теперь делаешь, Дэви? А здорово ты переменился, старина!

Да, Дэвид несомненно изменился. Ему шел уже двадцать первый год, а бледность и гладкие темные волосы делали его на вид старше. У него был красивый лоб и все та же упрямая линия подбородка. Энергичное, тонко очерченное лицо суживалось книзу, застенчивая улыбка очень его красила. И как раз в эту минуту Дэвид улыбался.

– Да ничего такого, о чем бы стоило рассказывать, Джо.

– Ну-ну, выкладывай, – покровительственно скомандовал Джо.

И Дэвид начал рассказывать.

Последние три года дались ему нелегко, они оставили по себе след, навсегда стерев с его лица печать незрелости. Он поступил в Бедлейский колледж, рассчитывая жить на стипендию – шестьдесят фунтов в год, и поселился в меблированных комнатах у Вестгейт-Хилл, напротив «Большого фонаря». Но шестьдесят фунтов в год были до смешного малой суммой, а деньги из дому не всегда присылались, – Роберт болел и два месяца не вставал с постели, да и Дэвид часто сам восставал против посылки ему денег. Раз, чтобы заработать шесть пенсов на ужин, он нес в город чемодан какого-то пассажира от самого Центрального вокзала.

Но все это казалось ему пустяками, в своем рвении он не замечал лишений. А рвение его родилось из сознания своего невежества. Уже первые недели в колледже показали Дэвиду, что он просто серый, неотесанный мальчишка-шахтер, которому помогли получить стипендию счастливый случай, усердная зубрежка и некоторые природные способности. Поняв это, Дэвид решил приобрести побольше знаний. Он принялся читать не только стереотипные книги, рекомендуемые в школе, – Гиббона, Маколея, Горация, – он читал все, что удавалось достать: Маркса и Мопассана, Гёте и Гонкуров. Он читал, может быть, неразумно, но усердно. Читал с упоением, иногда до сумбура в голове, с неизменным упорством. Он вступил в члены Фабианского общества, всегда ухитрялся выкроить шестипенсовик на покупку билета на галерке в дни симфонических концертов и там познакомился с Бетховеном и Бахом; экскурсии в Тайн-каслский музей открыли ему красоту полотен Уистлера, Дега и единственного блестящего творения Мане, имевшегося там.

Нелегко давались ему эти беспокойные, одиночные искания, в которых было что-то трогательное. Дэвид был слишком беден, оборван и горд, чтобы заводить знакомства. Он тосковал по друзьям, но ждал, пока они придут к нему.

Потом он стал давать уроки в младших классах начальных школ в пригородах, заселенных бедняками, – в Солтли, Уиттоне, Хебберне. Принимая во внимание его идеалы, он должен был любить это дело, а между тем он его ненавидел: эти бледные, недоедающие и часто болезненные дети трущоб отвлекали его внимание от занятий, вызывали жестокую душевную боль. Хотелось не вбивать в их рассеянные головки таблицу умножения, а накормить их, одеть, обуть. Хотелось увезти их в Уонсбек и дать поиграть на воздухе и солнце, а не бранить их за то, что они не выучили десяти строк непонятных стихов о Ликиде, умирающем в цвете лет. У Дэвида порой сердце обливалось кровью при виде этой несчастной детворы. Он сразу и бесповоротно убедился, что у школьной доски он бесполезен, никогда не будет хорошим учителем, что преподавание в школе для него не цель, а средство и что ему надо перейти к другой, более активной, более «боевой» работе. В будущем году надо непременно выдержать экзамен на звание бакалавра, а затем идти дальше...

Дэвид вдруг замолк и снова улыбнулся своей удивительной улыбкой:

– Господи, неужели я говорил столько времени? Но тебе хотелось услышать мою «грустную историю» – так что пеняй на себя.

Однако Дженни не позволила ему говорить о себе таким легким тоном: его рассказ произвел на нее сильное впечатление.

– Право же, я... – начала она с живостью, но вместе с тем застенчиво, – я и не подозревала, что познакомилась с таким большим человеком.

Портвейн окрасил ее щеки слабым румянцем. Она смотрела на Дэвида блестящими глазами. Дэвид недовольно посмотрел на нее:

– «Большой человек»! Это очень ядовитая насмешка, мисс Дженни.

Но мисс Дженни и не думала насмехаться. До этого дня она не была знакома ни с одним студентом, настоящим студентом из Бедлейского колледжа. Большинство студентов Бедлея принадлежали к тому кругу, на представителей которого Дженни могла взирать только с завистью. К тому же, хотя Дэвид и выглядел чуть ли не оборванцем рядом с вылощенным Джо, она находила его очень недурным – нет, интересным, вот именно, интересным! И наконец, она

говорила себе, что Джо последнее время относился к ней отвратительно и было бы забавно попокетничать с Дэвидом, стравить их и заставить Джо ревновать. Она пролепетала:

– И подумать страшно про все эти книги, по которым вы учитесь. Да еще экзамен на бакалавра! Господи!

– И все это, верно, приведет меня в какую-нибудь непроветренную школу, где придется обучать голодных ребятишек.

– А разве вам этого не хочется? – не поверила Дженни. – Быть учителем! Ведь это чудесно!

Он с примирительной улыбкой покачал головой, собираясь возразить Дженни, но появление котлет, сосисок и картошки отвлекло их. Джо старательно все распределил, и у него был при этом весьма серьезный вид. Рассказ Дэвида Джо слушал вначале с завистливой, немного иронической усмешкой, готовый каждую минуту грубо высмеять и осадить Дэвида. Потом он заметил, как Дэвид смотрит на Дженни... Вот тут-то и осенила Джо замечательная идея. Он поднял голову, заботливо протянул Дэвиду его тарелку:

– Хватит тебе этого, Дэви?

– Да, большое спасибо, Джо. – Дэвид усмехнулся: уж много недель не видел он столько еды сразу.

Джо кивнул головой, любезно передал Дженни горчицу и заказал для нее еще порцию портвейна.

– Что такое ты говорил, Дэвид? – спросил он благосклонно. – Хочешь стать чем-нибудь почище простого учителя? Ну-ка расскажи!

Дэвид покачал головой:

– Это тебе будет неинтересно, Джо, ничуть неинтересно.

– Нет, интересно. Нам обоим интересно. Правда, Дженни? – В голосе Джо слышалось настоящее воодушевление. – Продолжай, старик, рассказывай все подробно.

Дэвид посмотрел на обоих и, ободренный вниманием Джо и блеском в глазах Дженни, начал:

– Ну так вот, слушайте. И не думайте, что я пьян, или самонадеянный нахал, или кандидат в сумасшедший дом. Когда я получу звание бакалавра, я, может быть, на время и займусь преподаванием. Но только ради куска хлеба. Получить образование я стремлюсь не для того, чтобы стать учителем. Не гоюсь я в учителя – слишком нетерпелив. По совести говоря, я хочу совсем другого, и это трудно, ужасно трудно объяснить, но я попробую. Я хочу сделать что-нибудь для своих – для тех, кто работает в копиях. Ты-то знаешь, Джо, какой это труд. Взять хотя бы «Нептун», где мы оба работали; ты знаешь, что там сделали с моим отцом, знаешь, в каких условиях там работать приходится... и как за это платят. Я хочу помочь людям изменить все это, сделать жизнь легче. И образование мне нужно для борьбы.

Джо мысленно обозвал Дэвида сумасшедшим фантазером. Но вслух сказал слащавым тоном:

– Так, так, Дэви. Шахтерам помочь надо.

Дэвид с жаром продолжал:

– Нет, Джо, ты, наверное, думаешь, что это одно только хвастовство. Но тебе было бы понятно то, о чем я говорю, если бы ты познакомился с историей угольных копей, хотя бы наших нортумберлендских копей. Всего каких-нибудь шестьдесят – семьдесят лет тому назад там работали чуть ли не при феодальных порядках. На шахтеров смотрели как на дикарей, как на отверженных. Они были неграмотны. Учиться им не давали. Работали они в ужасных условиях: вентиляция была плохая, постоянно происходили несчастные случаи, из-за того что хозяева не принимали мер против взрывов рудничного газа. Работать внизу в шахтах разрешалось и женщинам, и детям с шести лет... С шести лет, подумать только! Мальчишки проводили под землей по восемнадцати часов в сутки. Рабочие были связаны договором, так что стоило

им только шевельнуться, как их выбрасывали из квартир или сажали в тюрьму. Повсюду имелись заводские лавки, в них торговал обыкновенно какой-нибудь родственник зрителя, и шахтеры были вынуждены покупать там все продукты, а в полчку у них в уплату забирали весь заработок... – Дэвид вдруг замолчал и натянуто засмеялся, глядя на Дженни: – Вам это вряд ли интересно. Идиотство с моей стороны надоедать вам такими вещами!

– Да нет же, право, нет, – восторженно заверила его Дженни. – Какой вы умница, все-то вы знаете!

– Дальше, дальше, Дэви, – весело понукал его Джо, приказав лакею подать Дженни еще вина. – Рассказывай!

Но на этот раз Дэвид решительно покачал головой:

– Я обо всем этом буду говорить на дискуссии в Фабианском обществе. Вот когда порабатуют языки! Вы, может быть, уже поняли, что я хотел сказать. Условия работы теперь лучше, мы отошли довольно далеко от тех ужасных времен. Но в некоторых копиях еще сохранились тяжелые условия – и плата грошовая, и слишком уж часты несчастия с рабочими. А люди, видимо, не знают этого. На днях в трамвае один пассажир читал газету, а его знакомый у него спрашивает: «Что нового?» Он отвечает «Да ничего, решительно ничего. Опять очередной случай в шахте...» Я заглянул через его плечо в газету и прочел, что при взрыве в Ноттингеме погибло пятнадцать углекопов.

Наступила короткая пауза. У Дженни глаза увлажнились от сочувствия. Она выпила три большие порции портвейна, и все ее чувства необыкновенно обострились, они вибрировали, как струна, и, утратив душевное равновесие, Дженни готова была не то захохотать от избытка жизнерадостности, не то заплакать от смертельной грусти. В последнее время она полюбила портвейн, прямо-таки пристрастилась к нему. Это, по ее мнению, было подобающее питье для леди, это самое изысканное вино. Познакомил ее с этим напитком, разумеется, Джо.

Молчание нарушил Джо.

– Ты далеко пойдешь, Дэви, – объявил он торжественно. – Никогда мне за тобой не угнаться. Ты доберешься до парламента, а я все буду тут пудлинговать сталь.

– Не будь ослом, – сказал Дэви отрывисто.

А Дженни слушала; ее интерес к Дэвиду возрастал. Она начинала пленяться им не на шутку. Ее притворно-застенчивые взгляды стали еще застенчивее, еще многозначительнее. Она вся искрилась оживлением. Разумеется, она все время помнила, что ей надо превратить Дэвида в соперника Джо. Так заманчиво иметь двух поклонников на выбор!

Заговорили на менее серьезные темы; Джо рассказывал о себе; они болтали и смеялись до десяти часов, очень весело и дружески. Потом Дэвид спохватился, что уже поздно.

– Господи! – воскликнул он. – А ведь все уверены, что я сижу дома и занимаюсь!

– Не уходите, – запротестовала Дженни. – Еще вовсе не поздно!

– Как ни жаль, а я должен уйти. Право, должен. В понедельник экзамен по истории.

– Ну хорошо, – сказал Джо решительно, – мы увидимся с тобой во вторник, Дэви. Давай так и условимся. И тогда уж ты от нас легко не отделаешься!

Они встали из-за стола, Дженни ушла «привести себя в порядок», Джо заплатил по счету, хвастливо выставя напоказ свои пятифунтовые бумажки.

На улице, когда они поджидали Дженни, Джо вдруг перестал жевать зубочистку.

– Она славная девочка, Дэви.

– Да, да. Одобряю твой вкус!

Джо от всей души рассмеялся:

– Ты жестоко ошибаешься, дружище! Мы с ней только добрые знакомые. Между мной и Дженни ничего *такого* нет.

– В самом деле? – спросил Дэвид с неожиданным интересом.

– Ну да! – Джо опять расхохотался, как будто самая мысль об этом казалась ему смешной. – Я и не подозревал, что ты в таком заблуждении.

Появилась Дженни, и они втроем дошли до угла Коллингвуд-стрит, где Дэвид свернул на Вестгейт-роуд.

– Смотри же, не забудь, – сказал ему Джо, – во вторник вечером, обязательно.

Прощальное рукопожатие было очень сердечным: пальцы Дженни тихонько, самым приличным образом, стиснули руку Дэвида.

Дэвид пошел домой пешком, а придя в свою жалкую каморку, раскрыл «Историю Французской революции» и закурил трубку.

Он думал о том, как великолепно, что он неожиданно-негаданно встретил Джо. Странно, что они до сих пор ни разу не встретились. Но Тайнкасл большой город, «а Джо Гоулен в нем только один», – вспомнились ему слова Джо.

Дэвид как будто все время размышлял о Джо, но лицо, мелькавшее перед ним на страницах книги, не было лицом Джо, – то было смеющееся личико Дженни.

XIV

В следующий вторник Дэвид явился с визитом в дом 117/А на Скоттсвуд-роуд. Отсутствие Джо, которого задержала на заводе сверхурочная работа, было для него разочарованием, если принять во внимание, как нетерпеливо он ожидал этого вечера. Но что же делать, раз бедняге Джо пришлось работать сверхурочно? И Дэвид, несмотря на его отсутствие, чудесно провел время. Он по натуре был очень общителен, а между тем ему редко представлялся случай эту общительность проявить. Сегодня он пришел с надеждой на приятный вечер – и не обманулся. Семейство Сэнли, информированное Дженни, сначала отнеслось к нему с некоторой настороженностью: они ожидали высокомерия. Но скоро лед был сломан, на столе появился ужин, и всем стало весело. Миссис Сэнли, выйдя из обычной летаргии, приготовила гренки с сыром, и Салли объявила, что они просто объединение. Альф с помощью двух чайных ложечек и перечницы продемонстрировал придуманную им конструкцию голубятни. Он был убежден, что если взять патент, то можно нажить на этом целое состояние. Дженни, очаровательная в своем чистеньком ситцевом платье, сама разливала чай, так как ма слишком запыхалась и разомлела от жары после трудов на кухне.

Дэвид не мог глаз оторвать от Дженни. В неряшливой обстановке их дома она казалась ему чудесным цветком. Все те годы, что он прожил в Тайнкасле, ему почти не приходилось разговаривать с женщинами. В Слискейле же он еще не достиг того возраста, когда начинают «гулять», как принято выражаться в Террасах. Дженни была первой, самой первой женщиной, околдовавшей его.

В полуоткрытое окно влетал теплый ветер, и, хотя этот ветер приносил с собой извержения десяти тысяч дымовых труб, Дэвиду чудилось в нем благоухание весны. Он смотрел на Дженни, подстерегая ее улыбку; он никогда не видел ничего прелестнее мягкого изгиба ее рта, напоминавшего распускающийся цветок. Когда Дженни передавала ему чашку и пальцы их соприкасались, божественное чувство нежности заливало душу Дэвида.

Дженни заметила, какое впечатление она производит на Дэвида, и была польщена. А когда тщеславие Дженни бывало удовлетворено, она всегда приходила в самое лучшее настроение и проявляла себя с выгодной стороны. На самом же деле ее не очень влекло к Дэвиду. Когда их руки встречались, она не ощущала трепета. Дженни была влюблена в Джо.

Когда-то, вначале, она презирала Джо за дурные манеры, за грубость, за то, что он, по ее выражению, «занимался грязным трудом». Однако, как ни странно, именно этими свойствами Джо и покорила ее. Дженни была из тех, кого подчиняют силой, где-то в самой глубине ее души жило неосознанное преклонение перед грубой силой, покорявшей ее.

Впрочем, это не мешало Дженни быть очень довольной своей новой победой: когда Джо узнает, это «научит» его дорожить ею.

После ужина Альф предложил развлечься музыкой. Все перешли в гостиную. Снаружи доносился смягченный вечерний шум улицы, воздух в комнате был свежий и прохладный. Под аккомпанемент Салли Дженни спела «Жуаниту» и «Милая Мария, приди ко мне». Голос у нее был слабый, и пела она с некоторой натугой, но зато была очень эффектна у пианино. Окончив «Милую Марию», она хотела было спеть «Прощание», но Альф, которого громко поддержали Клэри и Филлис, стал требовать выступления Салли.

– Салли – это гвоздь нашей программы, – конфиденциально пояснил он Дэвиду. – Если ее удастся расшевелить, вы увидите, как она забавна. Настоящая маленькая комедиантка. Мы с ней вдвоем регулярно каждую неделю ходим в «Эмпайр».

– Да ну же, Салли! – умоляла Клэри. – Изобрази Джека Плезентса.

Филлис тоже уговаривала ее:

– Да, Салли, пожалуйста. И Флорри Форд.

Но Салли, безучастно сидя на табурете перед пианино, отказывалась выступать. Беря одним пальцем меланхолические басовые ноты, она говорила:

– Я не в настроении... Ему, – кивок в сторону Дэвида, – ему хочется слушать Дженни, а не меня.

Дженни со снисходительной усмешкой сказала, как бы про себя:

– Она просто хочет, чтобы ее подольше упрашивали.

Салли тотчас же вспыхнула:

– Ну хорошо же, мисс «Милая Мария», я спою и без упрашивания! – Она выпрямилась на табурете.

Несмотря на свои пятнадцать лет, Салли была мала ростом и напоминала бочонок, но было в ней что-то непонятным образом привлекавшее и очаровывавшее. В эту минуту ее маленькая фигурка казалась наэлектризованной. Салли нахмурила брови, затем ее некрасивая рожица приняла неотразимо насмешливое выражение. Она взяла режущий уши аккорд.

– По требованию публики, – начала она, – вторая мисс Сэнли споеет «Молли О’Морган». – И запела.

Это было превосходно, попросту превосходно! «Молли О’Морган» ровно ничего собой не представляла – обыкновенная, модная в то время песенка, – но Салли внесла в нее нечто новое. Песню она превратила в пародию, в шутовскую пародию. Она то визжала фальцетом, то вдруг начинала петь «с душой», чуть не плача над трагедией покинутых любовников Молли:

Молли О’Морган со своей шарманкой,
Рожденная в Ирландии итальянка.

И, забыв о том, что Дженни называла «приличиями», Салли в заключение самым непристойным образом изобразила обезьянку, которая (как с полным основанием можно было предположить) сопровождала мисс Морган и ее шарманку.

Все, кроме Дженни, корчились от смеха. А Салли, не дав им опомниться, с места в карьер начала «Я стоял на углу». Обезьянка исчезла, Салли преобразилась в Джека Плезентса, тупого, неотесанного деревенщину, медлительного, как улитка, торчащего под стеной городского трактира. Зрителям казалось, что они видят даже застрявшую в его волосах солому, когда Салли пела:

Тут какой-то малый в форме подошел и заорал:
«Как же ты попал в солдаты?» А я ему отвечал:
«На углу стоял я...»

Альф захлопал в ладоши, громкими возгласами выражая свое одобрение. Салли с плутовской улыбкой поглядела на него, скосив глаза. Потом вмиг из Джека Плезентса превратилась снова в особу женского пола и запела. Это была уже Флорри Форд, вылитая Флорри Форд, с пышной грудью, густым низким голосом и чудесными бедрами.

Пой о счастье, о радости, —
Никогда мы не знали их...

Песня неожиданно оборвалась. Салли соскользнула с табурета, покружилась на месте и, улыбаясь, остановилась перед слушателями.

– Отвратительно! – воскликнула она, морща нос. – И конфетки не стоит. Надо удирать, пока меня не забросали спелыми помидорами! – и вприпрыжку выбежала из комнаты.

Дженни потом извинялась перед Дэвидом за чудачества Салли.

– Уж вы простите, она часто бывает такая странная. А характер! Боже! Знаете... – она понизила голос. – Это довольно нелепо, но я боюсь, что она немножко ревнует ко мне...

– Да не может быть! – улыбнулся Дэвид. – Ведь она еще ребенок.

– Ей шестнадцатый год, – сухо возразила Дженни. – И она прямо-таки не выносит, когда кто-нибудь оказывает мне внимание. Вы не поверите, как бывает неприятно... точно я в этом виновата!

Нет, конечно, Дженни не была виновата. Так же мало можно было винить розу за ее благоухание, лилию – за ее чистоту.

В этот вечер Дэвид ушел домой еще более убежденный в том, что Дженни очаровательна.

Он стал часто бывать у Сэнли, проводить у них вечера. Иногда он заставлял дома и Джо, чаще же – нет. У Джо был страшно занятый вид, лихорадочная сверхурочная работа не прекращалась, и его редко можно было увидеть в доме № 117/А. Через некоторое время Дэвид стал приглашать Дженни на прогулки. Они вдвоем предпринимали экскурсии, непривычные для Дженни: ходили на Эстонские холмы, ездили в Лиддль, устроили пикник в Эсмонд-Дине. В глубине души Дженни презирала такие развлечения: она привыкла к «щедрому кавалеру» Джо, водившему ее в Перси-Грилл, в «Биоскоп», к Кэррику. Развлечением Дженни считала людскую толчею, разные зрелища, парочку рюмок портвейна, траты «кавалера» на нее. А у Дэвида не было денег. Дженни ни на минуту не сомневалась, что он ходил бы с ней по всем ее любимым местам, если бы позволило состояние его кошелька. Дэвид был «премилый молодой человек», он ей нравился, но иногда казался большим чудачком. В тот день, когда они отправились в Эсмонд-Дин, он привел ее в полное недоумение.

Ей не очень-то хотелось идти в Эсмонд – такое, по ее мнению, обыкновенное место, место, где за вход не платят, и поэтому люди самого низкого звания приходят сюда, приносят еду в бумажных свертках и располагаются на траве. Сюда ходили по воскресеньям со своими кавалерами самые «вульгарные» девицы из их мастерской. Но Дэвиду, видимо, очень хотелось, чтобы она пошла с ним, и Дженни согласилась.

Прежде всего он заставил ее сделать большой круг, чтобы показать ей гнезда ласточек, и с жадным нетерпением спросил:

– Вы когда-нибудь видели эти гнезда, Дженни?

Она отрицательно покачала головой:

– Я здесь была только один раз, и то совсем маленькой, когда мне было лет пять.

Дэвид был поражен:

– Да ведь это чудеснейшее место, Дженни. Я хожу сюда каждую неделю. Этот парк, как человеческая душа, бывает в разном настроении: иногда он мрачен, уныл, а иногда весел, весь залит солнцем. Посмотрите! Нет, вы только посмотрите на эти гнезда под крышей сторожки!

Она добросовестно смотрела. Но видела только комки грязи, лепившиеся по стене. Недоумевающая, немного рассерженная тем, что чего-то не может увидеть, она шла за Дэвидом вниз, по аллее рододендронов, к водопаду. Они остановились рядом на горбатом каменном мостике.

– Взгляните на эти каштаны, Дженни, – с восторгом сказал Дэвид. – Не правда ли, они как будто раздвигают небо? А мох вон там на скалах? А мельница... Смотрите, разве не прелесть все это? Совсем как на первых картинах Коро!

А Дженни видела старый полуразвалившийся домик с красной черепичной крышей и деревянным мельничным колесом, заросший плющом и забавно пестревший всевозможными красками. Неуютное, заброшенное место. И бесполезное – ведь мельница больше не работает.

Дженни никогда еще так не злилась. Они проделали длинный путь, и ноги у нее распухли и болели в тесных новых туфлях, так удачно купленных на распродаже за четыре шиллинга одиннадцать пенсов вместо девяти шиллингов. И здесь она ничего не видела, кроме травы, деревьев, цветов и неба, ничего не слышала, кроме журчания воды и пения птиц, а ела

только подмоченные бутерброды с яйцами да два банана – и то Канарские, а не большие ямайские, ее любимый сорт. Дженни была растеряна, выбита из колеи, сердита на Дэви, на себя, на Джо, на жизнь, на тесные туфли – неужели она уже натерла мозоль? – сердита на все решительно. Ей хотелось чаю или стаканчик портвейна, чего-нибудь! Стоя на этом живописном горбатом мостике, она поджимала бледноватые губы, затем раскрыла их, намереваясь сказать нечто весьма неприятное. Но в этот миг взгляд ее упал на лицо Дэвида. Лицо его светилось таким счастьем, таким сосредоточенным восторгом, таким пылом любви, что Дженни была сражена. Она вдруг фыркнула. Она смеялась, смеялась и – странно – не могла остановиться. Это был настоящий пароксизм истерической веселости.

Засмеялся и Дэвид, просто из сочувствия.

– В чем дело, Дженни? – спрашивал он. – Да скажите же, что вас так рассмешило?

– Не знаю, – сказала она, задыхаясь от приступа смеха. – В том-то и дело, что... я не знаю, отчего смеюсь.

Наконец она вытерла мокрые глаза кружевным платочком, прехорошеньким платочком, забытым какой-то леди в дамской комнате у Слэттери.

– Ох, – вздохнула она, – ну и умора!

Это было любимое выражение Дженни: всякое необычное явление, если оно оказывалось выше ее понимания, снисходительно определялось словом «умора».

После припадка веселости к Дженни вернулось хорошее настроение, она почувствовала даже нежность к Дэвиду, не протестовала, когда он взял ее под руку и когда затем, поднимаясь с ней по крутому склону холма к остановке трамвая, близко прижимался к ней. Но, жалуясь на усталость, она рассталась с ним раньше, чем они предполагали, и не позволила проводить себя домой.

Она шла по Скоттсвуд-роуд, беспокойная, возбужденная, занятая одной мыслью, которая пришла ей в голову, когда она ехала с Дэвидом в трамвае. На улице кипела жизнь. Была суббота, шестой час вечера. Люди выходили из домов погулять, развлечься. То был любимый час Дженни, час, когда она обыкновенно отправлялась куда-нибудь с Джо.

Она тихонько вошла в квартиру и, по счастливой случайности, от которой у нее забилося сердце, встретила Джо, шедшего по коридору к выходу.

– Эй, Джо! – окликнула она его весело, забыв, что целую неделю нарочно не обращала на него никакого внимания.

– Эй! – ответил он, не глядя на нее.

– У меня был сегодня такой уморительный день, Джо, – продолжала она оживленно и кокетливо. – Ты бы прямо умер со смеху, честное слово!

Джо метнул быстрый подозрительный взгляд на Дженни, загородившую ему путь в полутемном коридоре. В ответ на этот взгляд она придвинулась еще ближе, стараясь его соблазнить, тянулась к нему лицом, глазами, всем телом.

– Может, пойдем сегодня куда-нибудь, Джо? – сказала она манящим шепотом. – Честное слово, весь день мне было до смерти скучно. Мне так тебя недоставало! Хочется погулять с тобой. Очень хочется. И видишь, я готова, совсем одета.

– А какого...

Она прильнула к нему, гладила лацкан его пиджака, продела белый пальчик в его петлицу, по-детски умоляя и вместе соблазняя его:

– Я умираю от желания потанцевать. Сходим к Перси, Джо, покутим, как бывало. Ты ведь знаешь, Джо... ты знаешь, что...

Джо с грубым нетерпением покачал головой.

– Нет, – возразил он резко, – мне некогда, я замучился, у меня голова полна забот. – Отстранив ее, он торопливо прошел мимо, хлопнул дверью и исчез.

Дженни прислонилась к стене, полуоткрыв рот и устремив глаза на входную дверь. Вот как! Она просит его, унижается до просьб, она перед ним вся нараспашку, тянется к нему, а он бросает ей в лицо грубый отказ. Ее охватило чувство стыда. Никогда в жизни она не была так больно задета, так унижена. Бледная от гнева, она яростно кусала губы. Некоторое время она стояла не двигаясь, вне себя от злости. Потом овладела собой и, высоко подняв голову, вошла в комнату с таким видом, как будто ничего не произошло, швырнула шляпу и перчатки на диван и стала готовить себе чай.

Полулежавшая в качалке Ада опустила на колени журнал и недовольно наблюдала за дочерью.

– Где ты была? – спросила она лаконично и очень сухо.

– Загородом.

– Гм... гуляла с этим молодым человеком... с Фенвиком?

– Да, разумеется, – с полным хладнокровием подтвердила Дженни. – Гуляла с Дэвидом Фенвиком. И прекрасно провела время. Просто чудно. Какие красивые цветы мы видели, каких птиц! Он славный малый, очень славный.

Безмятежная грудь Ады зловеще заколыхалась:

– Славный, вот как?!

– Да, очень. – Дженни, спокойно наливавшая себе чай, остановилась и благосклонно кивнула головой. – Он самый лучший, самый симпатичный из всех, кого я когда-нибудь встречала. Я в него совсем влюбилась. – И она беспечно стала что-то напевать.

Ада не выдержала:

– Нечего тут жужжать мне в уши! – Она вся дрожала от возмущения. – Я этого не позволю. И вообще, моя милая, должна тебе сказать, что считаю твое поведение неприличным. Ты нехорошо поступаешь с Джо. Четыре года он ухаживал за тобой, водил тебя повсюду и все такое, как настоящий жених. Но стоило только появиться другому молодому человеку, как ты даешь Джо отставку и бегаешь повсюду с тем... Это нечестно по отношению к Джо!

Дженни пила чай со «светским» самообладанием:

– Меня совсем не интересует Джо Гоулен, ма. Мне стоило бы только пальцем шевельнуть, и он был бы мой. Но я этого не сделала. Пока нет.

– Ах вот как, миледи! Теперь Джо недостаточно хорош для тебя... он тебе уже не пара, с тех пор как появился этот школьный учитель... Благородно, нечего сказать! Нет, сударыня, не так я поступала с твоим отцом. Я к нему относилась по-человечески, как следует порядочной девушке. И если ты не будешь хорошо обращаться с Джо, ты его упустишь, – это так же верно, как то, что тебя зовут Дженни Сэнли.

– Очень он мне нужен, подумаешь! – снисходительно усмехнулась Дженни. – Да пускай бы он и на глаза мне больше не показывался, ваш Джо Гоулен, мне решительно все равно.

Миссис Сэнли вскипела:

– Тебе-то, может быть, все равно. А Джо расстроен, ужасно расстроен. Только что он приходил ко мне. У бедняги слезы были на глазах, когда он говорил о тебе. Он не знает, что ему и делать. И на заводе у него неприятности. Ты ведешь себя возмутительно по отношению к нему, и, помани мое слово, ни один мужчина этого долго терпеть не станет. Так смотри же! Ты скверная, бессердечная девчонка. Вот погоди, я все расскажу отцу.

Выпалив эту последнюю угрозу, Ада, в знак того, что разговор окончен, рывком подняла с колен свой журнал. Нравится это Дженни или не нравится, а она сказала свое слово, выполнила свой долг.

Дженни все с той же улыбкой превосходства допила чай, со снисходительной величавостью подобрала свои перчатки и шляпу, выплыла из комнаты и стала подниматься по лестнице.

Но, когда она очутилась у себя в спальне, улыбка вдруг сбежала с ее лица. Дженни одиноко стояла посреди комнаты, на холодном истертом линолеуме, превратившись в несчаст-

ного, брошенного, обиженного ребенка. Она уронила на пол шляпу и перчатки, затем, громко всхлипнув, бросилась на кровать. Лежала, распростершись на подушке, словно обнимая ее. Юбка на колене вздернулась и открыла над черным чулком полоску нежной белой кожи. Ее горе, горе покинутой, было невыразимо. Она плакала так, словно у нее сердце разрывалось.

А Джо, гордо шествуя по Биг-Маркет на свидание к Дику Джоби, с которым у него были важные и конфиденциальные дела, весело твердил про себя:

– Выгорит дело! Ей-богу, выгорит!

XV

Десять дней спустя Джо рано утром пришел в заводскую контору и заявил, что ему надо видеть мистера Стэнли.

– А, Джо! В чем дело? – спросил Стэнли Миллингтон, поднимая глаза от письменного стола, стоявшего посреди комнаты с высокими окнами, со множеством бумаг, чертежей и книг, лежавших повсюду, с коричневыми стенами, на которых висели фотографии – группы заводских служащих, администрации, снимки, сделанные на экскурсиях членов клуба, и снимки цеха, где громадные болванки угрожающе раскачивались на подъемных кранах.

Джо почтительно ответил:

– Я отработал неделю после предупреждения, мистер Миллингтон. И не хотелось мне уйти, не попрощавшись с вами.

«Наш» мистер Стэнли выпрямился в кресле:

– Да неужели же вы уходите от нас, Джо? Очень жаль. Вы гордость цеха. И клуба тоже. Что случилось? Может быть, я могу помочь делу?

Джо покачал головой меланхолически, но решительно:

– Нет, мистер Стэнли, сэр, тут личное дело. Завод тут ни при чем. Мне очень нравилось у вас работать. Но... у меня вышла неприятность с моей невестой.

– Боже мой, Джо! – всполошился мистер Стэнли. – Неужели... (Мистер Стэнли не забыл Дженни. Мистер Стэнли недавно женился на Лауре, он, если позволено будет так выразиться, только что поднялся с брачного ложа и поэтому был склонен к драматическому сочувствию.) Неужели вы хотите сказать, что она вас бросила?

Джо молча кивнул:

– Придется мне уйти. Я не могу больше здесь оставаться. Хочу уехать как можно скорее.

Миллингтон отвел глаза. Не повезло бедняге! Да, ужасно не повезло. Но он переносит горе как настоящий мужчина. Чтобы дать Джо время успокоиться, Стэнли тактично вытащил свою трубку и стал медленно набивать ее табаком из стоявшей на столе коробки с эмблемой Сент-Бидской школы, потом поправил галстук цветов этой школы и сказал:

– Мне вас жаль, Джо. – Рыцарские чувства не позволили ему сказать больше: он не мог осуждать женщину. Он добавил только: – Мне вдвойне жаль лишиться вас, Джо. Вы у меня с некоторых пор на примете. Я наблюдал за вами и хотел помочь вам пробить себе дорогу.

«Отчего же ты этого не сделал, дьявол тебя возьми?» – подумал Джо злобно, а вслух сказал с благодарной улыбкой:

– Вы очень добры ко мне, мистер Стэнли.

– Да. – Стэнли важно пыхтел трубкой. – Люди вашего типа мне по душе, Джо. Я люблю работать с такими людьми, прямодушными и порядочными. Образование в наше время имеет очень мало значения. Главное – чтобы человек был настоящий...

Долгая пауза.

– Впрочем, не буду пытаться вас уговаривать. Что пользы предлагать человеку камень, когда ему нужен хлеб? На вашем месте и я бы, вероятно, поступил так же. Уезжайте и постарайтесь забыть. – Он снова помолчал, вынув трубку изо рта, и внезапно расчувствовался при мысли о том, как он счастлив с Лаурой и насколько его положение лучше, чем этого бедняги Джо. – Но запомните то, что я сказал, Джо. Это мое искреннее намерение. Когда бы вы ни вздумали вернуться, для вас здесь найдется работа. И работа, вас *достойная*. Понимаете?

– Да, мистер Стэнли. – Джо держал себя, как подобает мужчине.

Миллингтон поднялся, вынул трубку изо рта и протянул ему руку, как бы благословляя идти навстречу своей судьбе:

– До свидания, Джо. Уверен, что мы еще с вами встретимся.

Они обменялись рукопожатием. Потом Джо повернулся и вышел из кабинета. Он торопливо прошел Плэтт-стрит, вскочил в трамвай, мысленно подгоняя его. Потом все так же поспешно промчался по Скоттсвуд-роуд, тихонько вошел в дом № 117/А, прокрался наверх и уложил свой чемодан. Уложил все. Когда попалась фотография Дженни в рамке, которую она ему подарила, он с минуту всматривался в нее со слабой усмешкой, потом выбросил фотографию и спрятал в чемодан рамку. Рамка была хорошая, серебряная.

Таща в одной руке раздутый чемодан, он сошел вниз, бросил его на пол в передней и прошел в крайнюю комнату. Ада, неряшливая, расплывшаяся, по обыкновению лежала в качалке, предаваясь так называемой «утренней передышке».

– Прощайте, миссис Сэнли.

– Что такое? – Ада чуть не вскочила с качалки.

– Меня уволили, – коротко объявил Джо. – Работу я потерял, Дженни со мной порвала, не могу я этого больше выносить. Уезжаю...

– Ну, Джо... – ахнула Ада. – Неужели вы это всерьез?

– Совершенно серьезно.

Джо не притворялся печальным: это было опасно, могло вызвать протесты, уговоры остаться. Он был тверд, решителен, сдержан. Он уходил как человек, которого оскорбили, решение которого непоколебимо. И впечатлительная Ада поняла это по выражению его лица.

– Так я и знала, – причитала она. – Знала, что этим кончится. Ее поведение... Говорила я ей. Говорила, что вы этого не потерпите. Она возмутительно с вами поступила.

– Больше чем возмутительно, – вставил Джо угрюмо.

– И подумать только, что вы еще и работу потеряли! О Джо, как мне вас жалко! Это ужасно. Господи, что же вы будете делать?

– Найду себе работу, – сказал Джо твердо, – где-нибудь подальше от Тайнкасла.

– Но, Джо... может быть, вы...

– Нет! – неожиданно рявкнул Джо. – Ничего я не хочу. Довольно я настрадался. Меня обманул мой лучший друг. Не желаю я больше этого терпеть!

Дэвид был для Джо, конечно, последним козырем в игре. Не будь Дэвида, ему бы ни за что не удалось отделаться от Дженни. Это было бы невозможно. Никак невозможно. Его бы допрашивали, преследовали, шпионили за ним на каждом шагу. Даже когда он говорил с Адой, эта мысль промелькнула у него в голове. И его охватил порыв восхищения собственной ловкостью. Да, он умно придумал: разыграл все, как настоящий артист. Какое удовольствие – стоять сейчас тут, втирать ей очки и посмеиваться в кулак над всей компанией.

– Имейте в виду, миссис Сэнли, что я не злопамятен, – объявил он в заключение. – Скажите Дженни, что я ее прощаю. И передайте всем от меня поклон. Не могу никого видеть, мне слишком тяжело.

Аде не хотелось его отпускать. Она-то в самом деле была расстроена. Но что делать, раз человека обидели? И Джо покинул ее дом так же, как вошел в него, – без единого пятна на репутации, самым достойным образом.

В этот вечер Дженни поздно воротилась домой. В магазине Слэттери шла летняя распродажа, а так как сегодня была пятница, последний день этого ненавистного для Дженни периода, то магазин закрыли только около восьми часов вечера. Дженни пришла домой в четверть девятого.

Дома была только одна мать. С удивительной для нее энергией Ада устроила это нарочно, отослав Клэри и Филлис «погулять», а Альфа и Салли – на премьеру в «Эмпайр».

– Мне нужно с тобой поговорить, Дженни...

Что-то новое звучало в голосе матери, но Дженни была слишком утомлена, чтобы обратить на это внимание. Она до смерти устала, и, что еще хуже, ей нездоровилось. Сегодня был убийственный день.

– Ох и надоел же мне этот магазин! – сказала она, в изнеможении падая на стул. – Десять часов на ногах! Ноги у меня распухли и горят. Если это долго еще будет продолжаться, я наживу себе расширение вен. А я когда-то считала, что это приличная служба. Что за ерунда! Она становится все хуже. Женщины того круга, который мы теперь обслуживаем, такие ужасные!

– Джо уехал, – ледяным тоном сказала миссис Сэнли.

– Уехал? – повторила Дженни, оторопев.

– Да, уехал сегодня утром. Совсем.

Дженни поняла. Ее бледное лицо побелело как мел. Она перестала растирать опухшую ногу и сидела не шевелясь. Серые глаза глядели не на мать, а куда-то в пространство. Она казалась испуганной, но скоро овладела собой.

– Дай мне чаю, мама, – вымолвила она каким-то странным голосом. – И не говори больше ни слова. Дай мне только чаю и молчи.

Ада глубоко вздохнула, и все приготовленные было упреки замерли у нее на языке. Она немножко знала свою дочь, – не вполне, но настолько, чтобы понять, что сейчас не следует возражать Дженни. Она замолчала и принесла Дженни поесть.

Дженни очень медленно принялась за еду; это был, собственно, обед – деревенский пирог, еще горячий, потому что стоял в печке. Она сидела все так же прямо и неподвижно, глядя в одну точку. Она, казалось, размышляла.

Кончив есть, она повернулась к матери.

– Теперь слушай, ма, – сказала она. – И слушай хорошенько. Я знаю, вы все готовитесь меня пилить. Я заранее знаю каждое слово, которое у тебя на языке: ты, мол, поступила с Джо скверно и так далее. Я это знаю, слышишь? Все знаю. И нечего мне это говорить. Тогда вам не придется ни о чем жалеть. Вот! А теперь я иду спать.

Ошеломленная мать осталась одна, а Дженни стала с трудом подниматься по лестнице. Она ощущала невероятную усталость. Вот бы сейчас выпить стаканчик-другой портвейна, чтобы встряхнуться! Она почувствовала вдруг, что готова отдать все что угодно за один бодрящий стаканчик портвейна. Наверху она разделась, бросая свою одежду на стул, на пол, куда попало. Легла в постель. Она благодарила Бога, что Клэри, спавшей с ней в одной комнате, нет дома и никто не мешает ей.

Она лежала на спине в прохладной темноте спальни и думала, думала... На этот раз никакой истерики, потоков слез, дикого метания на подушке. Дженни была удивительно спокойна. Но под этим спокойствием скрывался страх.

Она смотрела прямо в лицо случившемуся: да, Джо бросил ее, нанес ей ужасный удар, почти смертельный для ее гордости, удар, морально сразивший ее в самое неподходящее время. Ей опротивел магазин, надоело в течение долгих часов быть на ногах, подавать, разворачивать, резать, надоело любезно угождать покупательницам низшего круга. Только сегодня картина этих шести лет ее работы у Слэттери встала перед ней. И она решительно сказала себе, что должна избавиться от всего этого. Дома ей тоже надоело: надоела теснота, грязь, беспорядок. Ей хотелось иметь свою собственную квартиру, свою собственную обстановку; хотелось принимать гостей, устраивать у себя званые вечера, возвращаться в «приличном обществе». А если ее желание никогда не осуществится? Если всю жизнь будет только этот магазин и дом на Скоттсвуд-роуд? Вот что было главной причиной внезапного испуга Дженни. В лице Джо она упустила уже одну возможность. Неужели она упустит и вторую?

Она много и упорно думала, раньше чем уснула. А наутро проснулась в бодром настроении. По субботам она работала только полдня. Придя домой, торопливо позавтракала и побежала наверх переодеваться. Она потратила много времени на туалет: надела самое нарядное из своих платьев – серебристо-серое с бледно-розовой отделкой, причесалась по-новому и, чтобы выглядеть свежее, намазала лицо кольдкремом «Винолия»; результатом осталась довольна и

сошла вниз в гостиную дожидаться Дэвида. Он обещал прийти в половине третьего, но пришел на целых десять минут раньше, трепеща от нетерпеливого желания увидеть ее. Первый же взгляд на него успокоил Дженни: да, он по уши влюблен. Она сама открыла ему дверь, и Дэвид остановился в коридоре как вкопанный, пожирая ее глазами.

– Какая вы красивая, Дженни, – шепнул он. – Такая красота бывает только в сказке.

Проходя впереди него в гостиную, она усмехалась, довольная. Нельзя отрицать, что Дэвид гораздо лучше, чем Джо, умеет говорить комплименты, но подарок он принес ей ужасно нелепый: не шоколад, не конфеты, даже не духи, ничего путного – только букет желтофиоли, даже не букет, а просто пучок, такие продаются на лотках не дороже чем по два пенса. Ну да ничего, сейчас не стоит обращать на это внимания.

Она сказала с улыбкой:

– Я так рада вас видеть, Дэвид, право. И какие красивые цветы!

– Они самые обыкновенные, но они прелестны, Дженни. И вы также. Смотрите, лепестки такие же нежно-матовые, как ваши глаза.

Дженни не знала, что сказать. Такого рода разговор ставил ее в тупик. Она подумала, что виноваты книги, которых Дэвид начитался за последние три года, – «стихи и все такое». В другое время она ответила бы, как полагается хорошо воспитанной особе: «О, я так люблю цветы!» – и суетливо убежала бы с букетом. Но сегодня ей не хотелось уходить от Дэвида. С цветами в руках она церемонно присела на кушетку. Дэвид сел рядом, посмеиваясь над строгой чопорностью их позы.

– Мы сидим как будто перед фотографом.

– Что? – Она недоумевающе посмотрела на него, окончательно рассмешив этим Дэвида.

– Знаете, Дженни, – сказал он, – никогда еще я не встречал такой... такой удивительно чистой девушки, как вы. Как Франческа... «когда ее, еще всю в росе, привезли из монастыря». Это написал один человек, которого звали Стивен Филлипс.

Глаза Дженни были опущены. Серое платье, бледное нежное лицо и неподвижные руки, сжимавшие цветы, придавали ей странное сходство с монахиней. После слов Дэвида она сидела все так же тихо, не понимая, что он хотел сказать. «Чистая»? Неужели он способен... Неужели это насмешка? Нет, конечно нет, он слишком влюблен. Наконец она сказала:

– Не надо смеяться надо мной. Последние дни у меня очень тяжело на душе.

– Неужели, Дженни? – Дэвид сразу встревожился. – А что случилось?

Она вздохнула и принялась теревать стебелек цветка из букета:

– Здесь все против меня, все... потом были неприятности с Джо... Он уехал.

– Как? Джо уехал?

Она утвердительно кивнула головой.

– Но отчего, скажите на милость? Отчего?

Она промолчала, продолжая с трогательным смущением теревать цветок, потом сказала:

– Он ревновал... не захотел оставаться у нас, оттого что... ну, если уж вы непременно хотите знать, – оттого, что вы мне больше нравитесь, чем он.

– Да что вы, Дженни, – возразил Дэвид смущенно. – Ведь Джо мне говорил... Так вы думаете... вы уверены, что Джо все же был влюблен в вас?

– Давайте не будем об этом говорить, – ответила Дженни, слегка вздрогнув. – Я не хочу говорить об этом. Я от всех только об одном и слышу... Меня бранят за то, что я не любила Джо... – Она неожиданно подняла глаза на Дэвида. – Сердцу не прикажешь, правда, Дэвид?

Послышавшийся ему в этих словах намек заставил сердце Дэвида мгновенно забиться дивным восторгом. Она предпочла его! Она назвала его – Дэвид! Глядя ей в глаза, как в тот вечер первой встречи, он забыл обо всем на свете, помнил только, что любит ее, стремится к ней всей душой. В мире есть одна только Дженни. И никогда не будет другой. Уже в одном ее имени Дженни крылось волшебное очарование, песня жаворонка, раскрывающийся цветок,

красота и свежесть, музыка и благоухание. Он желал ее со всем пылом своей молодой и голодной души. Он наклонился к ней, и Дженни не отодвинулась.

– Дженни, – пробормотал он с бьющимся сердцем. – Так я вам нравлюсь?

– Да, Дэвид.

– Дженни... Я знал с самого начала, что так будет... Вы любите меня, Дженни?

Дженни ответила коротким нервным кивком.

Он обнял ее. Ничто в жизни не могло сравниться с упоением этого поцелуя. Он поцеловал ее робко, почти благоговейно. Весь трагизм первой юношеской любви, вся ее неискренность сказались в нежной неловкости этого объятия. Это был самый необычайный поцелуй из всех, которыми когда-либо целовали Дженни. И от необычайности этого поцелуя слеза задрожала на ее реснице, скатилась по щеке, за ней другая, третья.

– Дженни... ты плачешь? Так ты не любишь меня? Дорогая, скажи, что тебя огорчает?

– Я люблю тебя, Дэвид, люблю, – зашептала Дженни. – Никого у меня нет, кроме тебя. Я хочу, чтобы ты всегда меня любил. Хочу, чтобы ты взял меня отсюда. Я здесь все ненавижу... ненавижу! Они относятся ко мне отвратительно. И надоело мне до смерти работать в магазине. Ни одной минуты не буду больше этого терпеть. Я хочу уйти с тобой, подальше отсюда. Хочу, чтобы мы поженились и были счастливы и... и... все такое.

Волнение в ее голосе довело Дэвида чуть не до экстаза.

– Я тебя возьму отсюда, Дженни, как только смогу. Как только сдам экзамен и получу место.

Она разразилась слезами:

– О Дэвид, да ведь это пройдет целый год! И ты будешь в Дерхэме, в университете, а я здесь. Ты меня забудешь. Я не могу так долго ждать. Мне тошно здесь, пойми. А ты не мог бы сейчас поступить на службу?

Она горько плакала, сама не зная отчего.

Эти слезы ужасно расстроили Дэвида. Он видел, что Дженни переутомлена и сильно взвинчена, каждое ее всхлипывание отзывалось в нем ранящей болью.

Он стал ее утешать, гладил по голове, склоненной к нему на плечо:

– Не так уж это долго, Дженни. И не горюй, милая, все уладится. В крайнем случае я могу, пожалуй, и теперь уже получить место. Я вполне подготовлен к преподаванию, понимаешь? Я сдал экзамены на бакалавра литературы, для этого достаточно двух лет учения в Бедлее. Конечно, это ничего не стоит в сравнении со степенью бакалавра филологических наук, но в конце концов, если нужда заставит, я могу взять место учителя.

– Правда, Дэвид? – В налитых слезами глазах Дженни была мольба. – О, постарайся! Но как ты это сделаешь?

– А вот как... – Он все гладил Дженни по голове и успокаивал ее. Только безумие любви могло заставить его сказать то, что он сказал: – Я напишу одному человеку из нашего города, который пользуется большим влиянием. Его фамилия Баррас. Он может устроить меня куда-нибудь. Но понимаешь ли...

– Понимаю, Дэвид, – стремительно перебила Дженни, – отлично знаю, что ты хотел сказать. Тебе нужно добиться степени бакалавра. Но почему бы не сделать этого *потом*? О Дэвид, ты только представь себе: мы с тобой вдвоем в уютном домике. Ты работаешь по вечерам, разложив на столе свои большущие серьезные книги, а я сижу рядом. Не так уж трудно будет тебе давать днем уроки в школе. А заниматься ты можешь вволю по вечерам. Разве не чудесно было бы? Подумай, Дэвид, как чудесно!

Сентиментальная картина, нарисованная Дженни, вызвала у Дэвида улыбку насмешливой нежности. Он покровительственно посмотрел на девушку:

– Но, видишь ли, Дженни, нам следует быть рассудительными.

Она улыбнулась сквозь слезы:

– Дэвид, Дэвид, не говори больше ничего. Я так рада, не надо портить мне эту радость. – Она со смехом вскочила. – Теперь слушай. Мы сегодня сделаем отличную прогулку. Пойдем в Эсмонд-Дин, там так красиво, мне так нравятся деревья и та живописная старая мельница, помнишь? И там мы поговорим, обсудим все, каждую мелочь. В конце концов, не мешает тебе сразу написать этому мистеру Баррасу... – Она замолчала, чаруя Дэвида своими красивыми глазами, блестящими от непролитых слез. Она торопливо поцеловала его и убежала одеваться.

Дэвид стоял и улыбался, радостно взволнованный, но, пожалуй, немножко озабоченный. Впрочем, все казалось пустяком по сравнению с тем, что Дженни любит его. Его, Дэвида, любит Дженни! И он ее любит. Он был полон нежности, горячей веры в будущее. Дженни будет ждать, разумеется, будет ждать... ведь ему только двадцать два года... он должен получить степень бакалавра, она поймет это потом. В то время как он, поджидая Дженни, размышлял об этом, дверь распахнулась – и вошла Салли. Увидев его, она вдруг круто остановилась.

– Я не знала, что вы здесь, – сказала она, нахмутив брови. – Я пришла взять ноты.

Ее хмурое лицо тучей врезалось в ясное небо его счастья. Салли всегда разговаривала с ним как-то странно – отрывисто, язвительно, с упорной неприязнью. Чувствовалась какая-то обида на него, инстинктивное желание задеть его побольнее. И Дэвиду вдруг захотелось наладить хорошие отношения с Салли теперь, когда он так счастлив, когда он женится на ее сестре. Повинуясь этому внезапному побуждению, он сказал:

– Почему вы так смотрите на меня, Салли? Я вам противен?

Девочка пристально посмотрела ему в глаза. На ней было старое синее платье, в котором она в прошлом году ходила в школу; волосы ее сильно растрепались.

– Вы мне не противны, – сказала она, на этот раз без тени своей обычной недетской заносчивости.

Дэвид видел, что она говорит правду. Он улыбнулся:

– Но вы всегда так... кисло на меня поглядываете.

Она возразила с необычной серьезностью:

– Вы знаете, где найти сахар, если он вам нужен. – И, опустив глаза, круто повернулась и вышла.

Разминувшись с Салли в дверях, впорхнула Дженни.

– Что эта маленькая злючка сказала тебе? – И, не дожидаясь ответа, она с уверенностью хозяйки взяла Дэвида под руку, слегка прижавшись к нему. – Ну, пойдем, милый. Мне до смерти хочется поскорее обо всем, обо всем поговорить.

Она была весела теперь, весела, как птица. А почему бы и нет? Ведь у нее были все основания радоваться: есть жених – не просто «кавалер», а настоящий жених, и с аттестатом учителя! Чудесно иметь жениха-учителя. Она избавится от Слэттери и от Скоттсвуд-роуд тоже. Она покажет им всем, покажет и Джо! Всем назло они с Дэвидом будут венчаться в церкви, и о венчании объявят в газете. Она всегда мечтала венчаться в церкви... А теперь надо подумать, как ей одеться к венцу. Она оденется просто, но мило... Сошьет себе прелестное платье...

Воротясь с прогулки, Дэвид написал Баррасу («только для того, чтобы доставить удовольствие Дженни»). Через неделю пришел ответ: ему предлагали место младшего преподавателя в городской школе в Слискейле, на Нью-Бетель-стрит. Дэвид показал это письмо Дженни, ожидая, что она скажет. Рассудок боролся в нем с безоглядностью любви. Он подумал о родителях, о своем будущем... Но Дженни обхватила руками его шею.

– О Дэвид, милый, – всхлинула она, – ведь это великолепно, так великолепно, что я и слов не нахожу! Ну разве ты не рад, что я тебя заставила написать? Разве это не чудесно?

Держа ее в объятиях, прильнув губами к ее губам, закрыв глаза, все больше и больше пьянея, он чувствовал, что она права: это и в самом деле чудесно.

XVI

В это утро, даже еще до прибытия телеграммы на имя отца, Артур ощущал какой-то особенный подъем духа. Он проснулся с этим ощущением. С той минуты, как он открыл глаза и увидел в окно квадрат голубого неба, он почувствовал, что жизнь прекрасна, полна солнечного света, и надежд, и сил. Конечно, не всегда он просыпался в таком настроении. Иногда по утрам не бывало солнца, предстоял день уныния, какого-то мрачного застоя души, неприятного сознания своих недостатков.

Отчего он сегодня чувствовал себя таким счастливым? Это было так же необъяснимо, как и его печальные настроения. Предчувствие утренней телеграммы? Или мысль, что он увидит сегодня Гетти? Вернее всего – радостное сознание, что он совершенствуется нравственно, потому что, лежа в постели с закинутыми за голову руками, блаженно дотягиваясь всем своим длинным и тонким восемнадцатилетним телом, он первым делом подумал: «А я так и не ел вчера землянику!»

Разумеется, земляника сама по себе ничто, хотя он очень любит ее. Она только символ, она помогла ему доказать себе, что у него сильная воля. С легкой улыбкой он снова перебрал все в памяти. Вчерашний ужин, тетя Кэролайн, которая, как всегда, склонив голову набок, что-то приговаривала, раскладывая из вазы по тарелкам сочную землянику из парников, редкое лакомство за пуританским столом Баррасов. Да, и еще сливки – он чуть не забыл о большом серебряном кувшине желтых сливок. Ничего Артур так не любил, как землянику со сливками. «Теперь тебе, Артур», – сказала тетя Кэролайн, готовясь положить ему щедрую порцию ягод. А он поспешно: «Нет, спасибо, тетя Кэрри. Я сегодня не хочу земляники». – «Да что ты, Артур!» В голосе тетушки удивление, даже растерянность. Холодный взгляд отца сразу же останавливается на нем. Тетя Кэрри начинает снова: «Разве ты нездоров, Артур, милый?» Он смеется: «Совершенно здоров, тетя Кэрри. Просто мне что-то не хочется сегодня земляники». И сидел, глотая слюнки, и смотрел, как все ели землянику.

Вот это путь к самовоспитанию – мелочь, может быть, но в книге сказано, что за мелкими следуют большие дела. Да, сегодня он доволен собой. «Я бы очень желала, чтобы у Артура был более сильный характер». Это ворчливое замечание матери, подслушанное им, когда он проходил по коридору мимо ее комнаты, на много месяцев запечатлелось в его мозгу, но теперь, когда он ответил на него своим отказом от земляники, больше не мучило его.

Он вскочил с постели – ведь нехорошо так лежать и праздно мечтать! – энергично проделал гимнастику перед открытым окном, помчался в ванную и принял холодную ванну, действительно холодную: не думайте, он не разбавил эту ледяную купель ни единой каплей горячей воды. Потом Артур, сияя, вернулся к себе в комнату и надел рабочий костюм. Во время одевания глаза его были набожно устремлены на висевший против кровати плакат, написанный от руки. Плакат большими жирными буквами возвещал: «Я добыюсь!» А пониже этой была вторая надпись: «Смотри каждому прямо в глаза».

Он зашнуровал наконец башмаки – грубые башмаки, которые надел сегодня потому, что собирался в шахту. Теперь он совсем готов. Отперев ящик стола, он достал оттуда небольшую красную книжку «Как излечиться от застенчивости» – одну из серии, выходившей под общим заголовком «Воля и поступки», – и с серьезным видом присел на край кровати, чтобы почитать. Он всегда прочитывал одну главу утром, до первого завтрака, когда (как утверждала книга) ум наиболее восприимчив. К тому же он всегда читал у себя в комнате, в уединении: эти красные книжечки были его ревниво охраняемой тайной.

Где-то за пределами его внимания слышалось движение в доме: медленные шаги тетушки Кэрри в спальне матери, смех Грэйс, пробежавшей в ванную, глухой, сердитый стук над головой из комнаты Хильды, неохотно поднимавшейся с постели навстречу дню. Отец встал уже

с час назад. Раннее вставание было частью его программы, привычной для всех, неизменной, никогда не подлежащей обсуждению.

Артур прочел: «Человеческая воля способна управлять не только судьбой одного человека, но и судьбами многих. Эта способность ума приказывать или запрещать, эта способность решать, который из двух путей должен быть нами избран, может оказывать влияние не только на нашу собственную жизнь, но и на жизнь многих других людей».

Он на минуту перестал читать. Как верно! Уже хотя бы ради этого следует воспитывать в себе волю – не ради того, чтобы владеть собой, а во имя этого широкого, всеобъемлющего влияния на окружающих. Артуру хотелось быть человеком сильным, решительным, с большим самообладанием. Он знал свои недостатки, свою врожденную застенчивость и робость, склонность копаться в себе, а главное – неисправимую мечтательность.

Подобно всем мягким и впечатлительным натурам, Артур легко поддавался искушению уходить от грубой действительности через ворота своей фантазии. Какие удивительные мечты его посещали! Как часто видел он себя совершающим героический подвиг в «Нептуне»... То он спасал ребенка, вытаскивая его из воды или из-под курьерского поезда, и скрывался, не сообщив своего имени, а потом его разыскивали, и безумствующая от восторга толпа несла его на руках... То он сбивал с ног здорового грубияна, оскорбившего женщину... Или стоял на трибуне, чаруя громадную толпу слушателей своим красноречием... Или где-нибудь на званом обеде, в изысканном кругу, рядом с Гетти Тодд, пленял ее и все общество непринужденностью и изяществом манер... Или... О, не было предела этим ослепительным грезам! Но Артур сознавал, что они опасны, и решил покончить с ними. Теперь он будет тверд, тверд просто на удивление! Ему почти девятнадцать лет. Через год он окончит горный институт. Жизнь начинается – да, начинается по-настоящему, и необходимы мужество и решительность. «Я добьюсь!» – твердо сказал себе Артур, закрыв книгу и с пылом верующего глядя на свой плакат. Он крепко зажмурил глаза и несколько раз повторил эти слова про себя, будто выжигая их в своей душе: «Добьюсь, добьюсь».

Затем он отправился вниз завтракать. Отец любил по утрам завтракать на полчаса раньше других и уже кончил есть. Он, задумавшись, пил последнюю чашку кофе, и газета лежала у него на коленях. На «доброе утро» Артура он ответил молчаливым кивком. В этом кивке не было той суровой рассеянности, которая иногда до костей леденила Артура. Сегодня в кивке отца была спокойная снисходительность. Она была для Артура как ласка, она ободряла, означала, что отец принимает его преданность, признает его как личность. Артур просиял от счастья и усердно принялся очищать от скорлупы яйцо, с радостным волнением чувствуя на себе все время взгляд отца.

– Я полагаю, Артур, – сказал вдруг Баррас, словно решившись на что-то, – что сегодня мы узнаем интересные новости.

– Какие, папа?

– Предвидится новый контракт на уголь...

– Да, папа? – Артур поднял глаза, краснея: это «мы» было ему ужасно приятно, оно объединяло его с отцом, включало его, уже на правах компаньона, в управление копиями.

– Первокласный, должен тебе сказать, контракт с Тихоокеанской компанией.

– Вот как, папа!

– Ты рад? – спросил Баррас с дружелюбной иронией.

– О да, папа.

Баррас снова кивнул головой:

– Им нужен наш коксующийся уголь. Я уже начинал думать, что никогда больше не придется снова разрабатывать этот пласт. Но если они согласятся на нашу цену, мы приступим к работе на будущей неделе. Начнем вскрывать жилу в Скаппер-Флетс.

– А когда мы узнаем, папа?

– Сегодня утром, – ответил Баррас. Прямой вопрос Артура как будто заставил его внезапно пожалеть о своей откровенности. Он опять взял газету и из-за нее сказал внушительно: – Пожалуйста, будь готов ровно к девяти. Я не желаю тебя дожидаться.

Артур снова принялся усердно чистить яйцо, благодарный уже и за те сообщения, которые были ему сделаны. Но у него неожиданно мелькнула одна тревожная мысль. Он вспомнил... вспомнил что-то очень неприятное. Скаппер-Флетс!.. Торопливо обратил он взгляд на заслоненное газетой лицо отца. Ему ужасно хотелось задать один вопрос. Спросить или нет? Пока он так колебался, вошла тетя Кэрри с Грэйс и Хильдой. Лицо тети Кэрри, как всегда, светилось приветливостью, в которую она облачалась каждое утро так же неизменно и естественно, как вставляла свои фальшивые зубы.

– Твоя мать великолепно спала ночью, – весело обратилась она к Артуру.

Информация предназначалась для Ричарда, но тетя Кэрри сочла более удобным не обращаться к нему прямо: тетушка во имя собственной безопасности и общего мира всегда предпочитала обходный путь.

Артур, не слушая, передал ей гренки. Он весь сосредоточился на одной тревожной мысли... Скаппер-Флетс... Радость его наполовину уже исчезла, начинались внутренние терзания. Он не отрывал глаз от тарелки. И под влиянием мучивших его мыслей постепенно меркло великолепие этого утра. Он чуть не заплакал от раздражения: почему всегда одно и то же – этот неожиданный переход от восторженности к тяжкому смятению?

Он через стол посмотрел на Грэйс с чувством, похожим на зависть, наблюдая, как весело и безмятежно она уписывает мармелад. Грэйс была всегда одинакова: в шестнадцать лет она сохранила ту же милую, бездумную жизнерадостность, которую так живо помнил Артур в детстве, в те дни, когда оба летели кувырком со спины пони Боксера. А не далее как вчера Артур видел, как она шла по аллее с Дэном Тисдэйлом, грызя большое румяное яблоко, и оба болтали, как веселые товарищи. Грэйс, которую в будущем месяце отправляют заканчивать учение в Хэррогейт, шагает, жуя яблоко, среди бела дня, через весь город с Дэном Тисдэйлом, сыном булочника! Должно быть, это он и дал ей яблоко, потому что он грыз точно такое. Если бы тетя Кэрри это увидела, то, без сомнения, дома был бы настоящий скандал.

Грэйс перехватила взгляд Артура раньше, чем он успел отвести его, улыбнулась и беззвучно прошептала какое-то слово. По крайней мере, она сложила губы, как бы произнося его одним дыханием. Артур знал, какое это слово. Грэйс, весело улыбаясь ему, сказала: «Гетти». Всякий раз, как Артур углублялся в самоанализ, она считала, что он мечтает о Гетти Тодд.

Артур неопределенно покачал головой, и это, по-видимому, чрезвычайно развеселило Грэйс. Глаза ее искрились смехом, она просто захлебывалась от какого-то тайного удовольствия. Но, так как рот у нее был набит гренками и пастилой, это кончилось плачевно: Грэйс вдруг прыснула, закашлялась, поперхнулась, и лицо ее сильно покраснело.

– О боже, – шепнула она наконец, задыхаясь. – Что-то попало мне в глотку.

Хильда хмуро бросила:

– Так выпей поскорее кофе. И не будь впредь такой болтушкой.

Грэйс послушно стала пить кофе. Хильда наблюдала за ней, прямая, суровая, все еще хмурясь, что придавало ее смуглому лицу жесткое выражение.

– Ты, я думаю, никогда не научишься вести себя прилично, – сказала она с убеждением.

Замечание это обрушилось, как резкий удар по пальцам. Так, по крайней мере, казалось Артуру. А между тем он знал, что Хильда любит Грэйс. Странно! Его всегда поражала любовь Хильды к Грэйс. То была любовь и бурная и вместе сдержанная, сочетание ласки и удара; бдительная, пассивная – и вместе собственническая; вся из внезапных, поспешно подавляемых порывов гнева и нежности. Хильда нуждалась в обществе Грэйс. Хильда отдала бы все на свете, только бы Грэйс любила ее. Но Хильда, как заметил Артур, презирала всякое проявление чувств, которое могло бы привлечь к ней Грэйс, разбудить в Грэйс любовь к ней.

Артур нетерпеливо отогнал эти мысли. Вот еще один недостаток, от которого ему необходимо избавиться, – эти скачки излишне пытливой мысли. Не достаточно ли у него материала для размышлений после сегодняшнего разговора с отцом? Он допил кофе, вложил салфетку в костяное кольцо и ожидал, пока встанет из-за стола отец. Он спросит по дороге к шахте... Или, может быть, лучше на обратном пути?..

Наконец Баррас оторвался от газеты. Он не бросил ее, а аккуратно сложил своими белыми холеными руками, пальцами разгладил края и молча протянул ее тете Кэрри.

Хильда всегда брала газету, как только отец выходил из столовой, и Баррас знал, что Хильда берет ее, но он предпочитал высокомерно игнорировать этот досадный факт.

Он вышел из комнаты, следом за ним – Артур, и через пять минут оба сидели уже в кабrioлете и мчались к «Нептуну». Артур набирался духу для разговора с отцом. Десять раз нужные слова уже были на языке – и всякий раз иные. «Да, кстати, папа», – начнет он. Или лучше просто: «Папа, как ты думаешь...» Или так: «Знаешь, мне вдруг пришло в голову, что...» Это будет, пожалуй, самое подходящее начало. К его услугам всевозможные сочетания фраз, можно выбрать. Он уже представлял себе, как говорит с отцом, слышал слова, но... молчал. Это было мучительно. Наконец, к его невыразимому облегчению, Баррас спокойно заговорил именно о том, что тревожило Артура:

– Несколько лет тому назад у нас вышла маленькая неприятность из-за Скаппер-Флетс. Помнишь?

– Помню, папа. – Артур украдкой бросил быстрый взгляд на отца, но тот сидел рядом с ним, как всегда, спокойный и хладнокровный.

– Скверная история. Я не хотел этого. Кому хочется неприятностей? Но их не удалось избежать. Они мне дорого обошлись. – Он решительно покончил с этим вопросом, сдав его в архив прошлого, и заключил сентенцией: – Жизнь подчас трудная штука, Артур. Но не следует сдавать позиций ни при каких обстоятельствах. – И через минуту добавил: – Впрочем, на этот раз никаких неприятностей не будет.

– Ты думаешь, папа?

– Уверен. Рабочие получили тогда хороший урок и за новым гнаться не будут. – Он говорил обдуманно, рассудительным тоном. Он бесстрастно взвешивал аргументы: – В Скаппер-Флетс, несомненно, много воды, но, в конце концов, и «Миксен» и весь «Парадиз» – тоже мокрые места. Для наших людей работать в таких условиях дело привычное. Вполне привычное.

От слов отца, скупых, но так много выражавших, волна блаженного успокоения хлынула в сердце Артура, смыв все те туманные тревоги и опасения, что мучили его последний час. Все они исчезли, как исчезают сразу и начисто смытые мощным приливом шаткие песчаные замки, выстроенные детьми на берегу. Артур изнемогал от чувства благодарности. Он любил в отце эту ясность духа, эту спокойную, невозмутимую силу. Он сидел молча, остро ощущая присутствие отца рядом. Беспокойство исчезло... Радостное настроение, с которым он встал сегодня утром, вернулось к нему.

Они быстро проехали Каупен-стрит, въехали во двор рудника и прошли прямо в контору. Там застали Армстронга, который, очевидно, поджидал их: он празднично стоял у окна и водил пальцем по стеклу. Когда Баррас вошел, он обернулся:

– Телеграмма для вас, мистер Баррас. – И через минуту прибавил, намекая, что ему известно важное значение этой телеграммы: – Я подумал, что, пожалуй, лучше мне подождать вас.

Баррас взял со стола оранжевую полоску бумаги и не спеша распечатал ее.

– Да, – сказал он ровным голосом. – Все в порядке. Они согласны на нашу цену.

– Значит, мы в понедельник начинаем работу в Скаппер-Флетс? – спросил Армстронг.

Баррас утвердительно склонил голову.

Армстронг провел по губам тыльной стороной руки, – в этом жесте чувствовалось странное смущение. На лице его без всякой видимой причины появилось выражение растерянности. Вдруг зазвонил телефон. Почти с облегчением Армстронг подошел к столу и поднес трубку к уху.

– Алло! Алло! – Он слушал с минуту, затем посмотрел на Барраса: – Это мистер Тодд из Тайнкасла. Он уже два раза звонил сегодня.

Баррас взял телефонную трубку из рук Армстронга:

– Да, да, Баррас у телефона... Ну, Тодд, к моему удовольствию, могу вам сообщить, что все улажено.

Он помолчал, слушая, затем уже другим тоном произнес:

– Не говорите глупостей, Тодд... Да, конечно... Что? Я ведь вам сказал: *конечно!*

Новая пауза, во время которой знакомая Артуру морщинка раздражения появилась на лбу Барраса.

– А я говорю – да. – В голосе Барраса режущие звуки. – Что за ерунда, голубчик! Разумеется... По телефону неудобно. Что? Не вижу в этом ни малейшей надобности. Да, сегодня буду в Тайнкасле. Где? У вас дома? А в чем дело? Расстройство желудка? Неужели?.. – Сарказм в голосе Барраса стал еще заметнее, его глаза, блуждавшие по комнате, неожиданно встретились с глазами Артура и приковались к ним, насмешливые, выразительные. – ...Опять печень? Какая неприятность. Что-нибудь съели неподходящее? Ну что ж, раз вы расклеились, придется мне заехать к вам. Но я отказываюсь принимать всерьез ваши возражения. Да, решительно отказываюсь... Кстати, я привезу с собой Артура. Скажите Гетти, чтобы она дождалась его.

Круто оборвав разговор, он повесил трубку, но несколько секунд не двигался с места, и все та же презрительная усмешка морщила его губы. Затем он обратился к Артуру:

– Надо нам с тобой сегодня навестить Тодда. Он, кажется, опять был неосторожен и нарушил свою диету. Никогда еще я не слышал от него таких мрачных речей, как сегодня.

С отрывистым смешком он повернулся, собираясь уходить. Армстронг, подобострастно вторя смеху хозяина, распахнул перед ним дверь. Оба вышли во двор.

Артур остался в конторе, погруженный в какие-то смутные и несколько странные мысли. Он знал, разумеется, в чем состояла «неосторожность» Тодда: Тодд пил. У него не бывало сильного запоя, но во время приступов меланхолии он усердно «прикладывался к бутылке», что вызывало время от времени приступы болезни печени. Приступы были слабые, и все смотрели на них как на нечто неизбежное и неопасное, но Артур не мог без боли в сердце слышать о них. Он любил Адама Тодда, жалел этого опустившегося, но трогательного человека. Он угадывал, что Тодд в молодости знал те пламенные порывы, те тревоги и надежды, которые томят впечатлительную душу. Невозможно было себе представить, что Тодд, этот угрюмый, хилый человечек, испачканный нюхательным табаком и насквозь пропитанный алкоголем, мог быть когда-то пылким и чутким к призывам жизни, что этот отупелый взгляд когда-то сверкал весельем или отражал душевное волнение. А между тем это было так. В молодости, когда он вместе с Ричардом Баррасом проходил практику в копиях Тайнкасла, Тодд был живой, веселый мальчик, с энтузиазмом строивший планы будущего. Прошли годы. Жена умерла от родов. В одном судебном процессе, знаменитом Хеттонском процессе, где он выступал в качестве эксперта со стороны фирмы Бриггс-Хеттон, он потерпел фиаско; репутация его пострадала. Он утратил ко всему интерес, потерял веру в себя, работы становилось все меньше. Дети, вырастая, отходили от него. Теперь Лаура, его любимица, была уже замужем, Алан, видимо, больше занят погоней за удовольствиями, чем восстановлением фирмы Тодд, а Гетти с головой погружена в развлечения и свои собственные дела. И Адам Тодд постепенно все более замыкался в себе; он нигде больше не бывал, кроме клуба, где его почти каждый вечер от восьми до одиннадцати можно было видеть неизменно в одном и том же кресле: он молча пил, курил, слушал,

вставляя иногда какое-нибудь замечание, – все это с застывшим, немного апатичным видом человека, окончательно во всем разочаровавшегося.

Все время Артур не в состоянии был почему-то отделаться от мыслей о старом Тодде. И когда в три часа они с отцом приехали в Тайнкасл и шли по Колледж-роу к дому Тодда, его томило странное, необъяснимое ожидание чего-то, словно какая-то нить протянулась между его юной напряженной жизнью и жизнью этого старика, пропахшего нюхательным табаком. Артур не понимал этого чувства, оно было ново и как-то странно тревожило его.

Баррас позвонил, и дверь почти сразу отворилась. Их впустил сам Тодд (он никогда не соблюдал церемоний), в старом рыжем халате и стоптанных ночных туфлях.

– Что же это? – сказал Баррас, искоса поглядывая на Тодда. – Вы не в постели?

– Нет-нет, мне лучше. – Тодд поднял повыше очки в золотой оправе, всегда съезжавшие на кончик его испещренного красными жилками носа; очки немедленно снова скользнули вниз. – Это обыкновенная простуда. Через день-другой я буду совершенно здоров.

– Без сомнения, – вежливо согласился Баррас. Его очень забавляло то, что Тодд всегда объяснял простудой свои приступы печеночных коликов, но он и виду не показал, – он разговаривал со своим старым другом тоном ласковой снисходительности, даже немного заискивающе. Как олицетворение полнейшего благополучия и преуспевания, стоял он перед жалким человечком в покрытом пятнами халате, посреди узкой грязноватой передней, где даже от коричневых обоев, массивной подставки для зонтиков и подаренного кем-то барометра из мореного дуба исходила, казалось, покорная, терпеливая печаль.

– Мне надо потолковать с вами, Ричард, – сказал Тодд с некоторой нерешительностью и словно обращаясь к своим туфлям.

– Я так и полагал.

– Вы не сердитесь на то, что я звонил вам сегодня?

– Да что вы, дорогой мой!

Благосклонная снисходительность Ричарда стала заметнее, и это еще более смутило Тодда.

– Я чувствовал, что мне необходимо поговорить с вами. – Это звучало почти как извинение.

– Понимаю.

– В таком случае... – Тодд сделал паузу. – Пойдемте в кабинет. Там у меня огонь в камине. Я все что-то забну, должно быть от малокровия. – Он опять сделал паузу, занятый своими мыслями, расстроенный, и глаза его остановились на Артуре. Он улыбнулся своей обычной неопределенной улыбкой: – А ты, может быть, поднимешься к Гетти, Артур? Сегодня приехала из Ерроу Лаура. Они обе сейчас наверху в гостиной.

Артур мгновенно покраснел. Слова Тодда его взволновали. У Тодда будет какой-то экстренный разговор с отцом, и он рассчитывал, что ему, как взрослому, предложат принять участие в этом разговоре. А его отстраняют, постыдно отсылают к женщинам. Он был глубоко обижен, но старался скрыть это, делая вид, что ему все равно.

– Да, я пойду к Гетти, – сказал он развязно, заставляя себя улыбнуться.

Тодд кивнул головой:

– Ты знаешь дорогу, мальчик.

Баррас все с тем же критически-снисходительным видом посмотрел на Артура.

– Я не задержусь долго, – заметил он небрежно. – Нам надо будет поспеть на обратный поезд в пять десять. – И пошел за Тоддом в его кабинет.

Артур остался в передней. Щека у него еще дергалась от вымученной улыбки. Он был глубоко обижен таким пренебрежением к себе. Всегда одно и то же: какое-нибудь слово, мгновенное изменение голоса – и готово, он уже уязвлен, – его так легко расстроить. Сейчас его мучило недовольство своим несчастным характером и возбужденное, гневное любопытство. О

каком это деле хотел Тодд говорить с отцом? Попросить денег в долг? Или что другое? Отчего Тодд был в таком волнении, а отец держал себя с такой презрительной уверенностью? Острое раздражение овладело Артуром, когда, внезапно подняв голову, он увидел спускавшуюся с лестницы Гетти.

– Артур! – крикнула Гетти, торопливо сбегая по ступенькам. – Мне показалось, что я слышу твой голос. Но почему же ты не позвал меня?

Она подошла и протянула ему руку. И тотчас же, с почти магической быстротой, настроение Артура изменилось. Здороваясь с Гетти и глядя на нее, он забыл и об отце, и о Тодде, весь поглощенный одним желанием – произвести хорошее впечатление на Гетти. Ему вдруг захотелось блеснуть перед нею, мало того – он почувствовал, что может это сделать. Такие чувства не были свойственны его натуре: все это было лишь реакцией против только что испытанного унижения.

– Привет, Гетти! – сказал он отрывисто и, заметив, что она одета для выхода, спросил: – Тыходишь?

Гетти улыбнулась без тени застенчивости, – Гетти никогда не смущалась.

– Я обещала Лауре проводить ее. Она сейчас уезжает. – Гетти сделала шаловливую гримаску. – Я занимала весь день мою богатую замужнюю сестру. Но как только я от нее отделаюсь, в ту же минуту примчусь обратно и угощу тебя чаем.

– Пойдем пить чай к Дилли, – предложил вдруг Артур.

При этом неожиданном приглашении Гетти захлопала в ладоши:

– Чудесно, Артур, чудесно!

Он смотрел на нее и говорил себе, что она стала еще красивее, с тех пор как укладывала волосы в высокую прическу. Восемнадцатилетняя Гетти была прехорошенькой девушкой. Несмотря на то что черты ее лица не отличались красотой, она была очень мила. Узкокостная, с тонкими запястьями и маленькими ручками, глаза большие, зеленоватые, нос ничем не замечательный, цвет лица несколько бледный. Но волосы, мягкие, золотистые, красивыми пушистыми завитками обрамляли узкий и гладкий белый лоб. Глаза всегда сияли влажным блеском, а зрачки их к тому же бывали иногда расширены, и эти большие черные зрачки составляли удивительно приятный контраст с мягким золотом волос. В этом-то и крылся весь секрет ее очарования. Гетти не была красавицей, но она была девушка привлекательная, с живым и ровным характером, задорная и подкупающе-ласковая, как грациозный котенок с гладкой и блестящей шерсткой. В эту минуту она, умильно улыбаясь Артуру, говорила, подражая лепету наивного ребенка:

– Какой Артур милый, он поведет Гетти к Дилли! Гетти любит ходить к Дилли.

– Ты хочешь сказать, что любишь бывать там со мной? – спросил Артур, подделываясь под ее тон.

– М-м-м, – утвердительно промычала Гетти. – Артур и Гетти славно проводили время у Дилли, гораздо приятнее, чем здесь!

Она бессознательно подчеркнула последнее слово. Гетти не слишком-то любила отцовский дом. То был старый дом на Колледж-роу, дом с затхлой атмосферой и старомодной обстановкой, особенно раздражавшей Гетти, и она все время уговаривала отца переехать в более современное жилище.

– Но ты ходишь туда только ради пирожных с кофейным кремом, а не ради меня, – настаивал Артур, ожидая, чтобы Гетти пролила бальзам на раны его уязвленного самолюбия.

Она премило, по-детски сморщила нос:

– Так Артур в самом деле купит Гетти вкусные кофейные трубочки? Гетти их обожает!

Предостерегающий кашель заставил обоих обернуться. За ними в передней стояла Лаура, с чересчур подчеркнутой сосредоточенностью натягивая перчатки. Мина ласковой кошечки сразу же исчезла с лица Гетти, она воскликнула очень резко:

- Ну можно ли так пугать людей, Лаура! Что за манера подкрадываться неслышно!
- Я кашляла, – сухо возразила Лаура, – и только что собиралась чихнуть.
- Ловко придумано! – усомнилась Гетти, метнув сердитый взгляд на сестру.

Лаура продолжала натягивать перчатки, иронически поглядывая то на сестру, то на Артура. На ней был строгий и изящный темно-синий костюм. Артуру редко приходилось видеть Лауру, с тех пор как она вышла замуж за Стэнли Миллингтона. Он сам не знал, почему ему всегда как-то не по себе в ее присутствии. Гетти ему понятна, мила, у нее такая простая и прозрачная душа! А при Лауре он всегда терялся. В особенности ее сдержанность, это удивительное бесстрашие, что-то тщательно скрываемое, почти настороженность, которая чудилась ему за хмурой маской ее бледного лица, вызывала в нем странное смущение.

– Ну, идем! – воскликнула Гетти капризным тоном. Невозмутимое спокойствие Лауры, ее благополучный вид, видимо, злили Гетти. – Не стоять же нам тут весь день. Артур хочет пойти со мной к Дилл и.

Легкая улыбка тронула губы Лауры, но она не сказала ничего. Когда они выходили на улицу, Артур торопливо переменял разговор:

– Как поживает Стэнли?

– Он вполне здоров, – ответила Лаура приветливо. – Должно быть, играет сегодня в гольф.

Обмениваясь такими банальными фразами, они дошли до угла Грэйнджер-стрит, где Лаура ласково простилась с ними: ей пора было к портному Бонару.

– Она помешана на нарядах, – с резким смехом пояснила Гетти, как только Лаура ушла. Пальцы ее легко легли на рукав Артура и оставались там, пока они шли к Дилли. – Если бы она не была такая мотовка, она бы могла относиться ко мне лучше.

– Что ты хочешь сказать, Гетти?

– Она дает мне только пять фунтов в месяц на мои туалеты, и карманные расходы, и на все остальное.

Артур посмотрел на нее с удивлением:

– В самом деле, Лаура дает тебе столько денег, Гетти? Да ведь это очень щедро с ее стороны.

– Очень рада, что ты так думаешь. – Гетти, видимо, была задета и почти жалела о своей откровенности. – Лауре вполне по средствам такой расход. Она сделала хорошую партию, не так ли?

Наступило молчание.

– Я никак не пойму Лауру, – заметил Артур смущенно.

– Меня это ничуть не удивляет. – Гетти снова рассмеялась от души, как смеялась всегда. – Я бы могла рассказать тебе о ней кое-что, но, конечно, не расскажу ни за что на свете. – Она с добродетельным испугом отмахнулась от такого предположения. – Во всяком случае, я рада, что не похожа на нее. И не будем больше о ней говорить.

В эту минуту они вошли в кафе Дилли, и Гетти оживилась, заражаясь встретившим их здесь шумным весельем. Было половина пятого, и кафе, как всегда в этот час, было полно. Пить чай у Дилл и считалось в Тайнкасле высшим шиком. «Уголок избранных» – под таким громким названием оно фигурировало на страницах объявлений в «Курьере». Здесь за пальмами играл оркестр, и Артура и Гетти встретил приятный рокот голосов, когда они вошли в комнату Микадо, убранную в японском вкусе. Они уселись за бамбуковый столик, Артур заказал чай.

– А здесь довольно мило. – Он наклонился через стол к Гетти, весело кивавшей знакомым в битком набитой комнате.

В эти часы у Дилли собирались завсегда – главным образом молодое поколение Тайнкасла, сыновья и дочери видных и состоятельных адвокатов, врачей, коммерсантов, местная аристократия, отличавшаяся провинциальным снобизмом. В этой элегантной компании Гетти

была весьма заметной фигурой, она пользовалась большой популярностью. Хотя старый Тодд был только горным инженером и дела его были в не слишком цветущем состоянии, Гетти много выезжала. Она была молода, самоуверенна и в курсе всех интересов этого общества. О ней говорили, что она девушка с головой. Мудрецы, пророчившие хорошенькой Гетти блестящую партию, всегда многозначительно улыбались, встречая ее с Артуром Баррасом.

Она рассеянно пила чай.

– Алан тоже здесь. – Она нашла в толпе брата и весело указала на него Артуру. – С ним Дик Парвис и кое-кто из компании Раттера. Надо подойти к ним.

Артур послушно взглянул туда, где брат Гетти, Алан, которому в этот час следовало бы быть в конторе, расположился за столом посреди комнаты, в компании полудюжины молодых людей, которые с победоносным и вместе томным видом дымили папиросами.

– На что они нам, Гетти? – пробормотал он. – Вдвоем гораздо уютнее.

Гетти, с искорками в глазах, рассеянно играла вилкой, сознавая, что на нее со всех сторон обращены восхищенные взгляды.

– Красивый малый этот Парвис, – заметила она. – Слишком даже красивый.

– Он попросту осёл. – Артур пристально посмотрел на аляповато-красивого юношу с завитыми волосами, разделенными прямым пробором.

– Ну нет, Артур, он премилый мальчик. Танцует великолепно.

– Самонадеянный фат! – И, ревниво сжав под столом руку Гетти, он шепнул ей: – Ведь я нравлюсь тебе больше, чем он, да, Гетти?

– Ну конечно, глупыш ты этакий! – Гетти беспечно рассмеялась и перевела глаза на Артура. – Он только скучный банковский чиновник и никогда не будет большим человеком.

– А я буду, Гетти, – горячо уверил ее Артур.

– Ну разумеется, Артур.

– Вот погоди, я скоро стану компаньоном отца... Погоди – и увидишь! – Он умолк, взволнованный внезапно мелькнувшей перед ним картиной будущего, и, силясь увлечь Гетти своей пылкой верой в это будущее, добавил: – Сегодня мы заключили новый договор. Замечательно выгодный! Вот увидишь.

Она широко раскрыла глаза:

– Будешь загребать кучу денег?

Он серьезно кивнул головой.

– Дело не только в этом, Гетти. Важно другое... Работать вместе с отцом в «Нептуне», как делали все Баррасы, стать полезным. Потом подумать и о женитьбе... иметь для кого работать! Честное слово, Гетти, у меня дух захватывает, когда я думаю об этом.

Увлеченный, он смотрел на Гетти с сияющим лицом.

– Да, это очень приятно, Артур, – согласилась она, наблюдая его с сочувственной улыбкой. В эту минуту ей очень нравился Артур. Он был интереснее, чем когда-либо, его красил слабый румянец на щеках и горящие глаза. Конечно, он некрасив, это Гетти должна была с сожалением признать: светлые ресницы, бледное лицо, узкий рот придавали ему слишком женственный вид. Никакого сравнения хотя бы с Диком Парвисом, – тот настоящий красавец. Но в общем Артур милый мальчик, и его ждут копии «Нептун» и сундуки денег. Гетти позволила ему снова подержать ее руку под столом.

– У меня сегодня так радостно на душе, – сказал он порывисто. – Сам не знаю отчего.

– Не знаешь?

– Нет, впрочем, знаю.

Оба засмеялись. Смеясь, Гетти показывала мелкие ровные зубки, и это пленяло Артура.

– Тебе тоже хорошо со мной, Гетти?

– Ну конечно.

Прикосновение ее нежной руки под столом было как бы немым обещанием, от которого у него екнуло сердце. Гордая вера в себя, в Гетти, в будущее, как вино, кружила голову. Он окончательно осмелел и, подбадривая себя, сказал стремительно:

– Послушай, Гетти, я давно уже хочу спросить тебя: почему бы нам не обручиться?

Она снова засмеялась, ничуть не смутившись, и слегка сжала его руку:

– Какой ты милый, Артур.

Он то бледнел, то краснел. Заговорил горячо:

– Ты знаешь, какие у меня чувства к тебе. Мне кажется, так было всегда... Помнишь, как мы играли у нас в «Холме», когда были совсем маленькие? Ты самая лучшая девушка из всех, кого я знаю. Папа скоро сделает меня своим компаньоном... – Он остановился, чувствуя, что говорит очень бессвязно.

Гетти торопливо соображала. Ей уже раньше в перерывах между танцами делали предложение разные неоперившиеся юнцы. Но тут было другое – тут было нечто «настоящее». Все же ее расчетливый ум подсказывал ей, что спешить не следует. Она хорошо понимала, каким смешным покажется это преждевременное обручение, какие оно вызовет пересуды, язвительные намеки. Кроме того, ей хотелось хорошенько повеселиться, раньше чем выйти замуж.

– Ты такой милый, Артур, – повторила она чуть слышно, опустив ресницы. – И ты знаешь, как я к тебе привязана. Но, мне думается, мы оба еще слишком молоды для... ну, для официального обручения. Мы, конечно, дадим друг другу слово. Между нами все ясно.

– Так ты меня любишь, Гетти?

– Ах, Артур, ты же *знаешь*, что люблю.

Невыразимый восторг овладел Артуром. Он всегда легко поддавался волнению, и сейчас у него на глазах выступили слезы. В такое счастье трудно было поверить. Он казался себе зрелым, мужественным, способным всего достичь, он готов был на коленях благодарить Гетти за ее любовь.

Прошло несколько минут.

– Ну что ж, – со вздохом промолвила Гетти, – пожалуй, мне пора домой. Надо посмотреть, как чувствует себя старик.

Артур взглянул на часы:

– Без двадцати пять. Я обещал отцу встретиться с ним на вокзале в десять минут шестого.

– Я провожу тебя.

Артур нежно улыбнулся ей. Его глубоко тронула такая привязанность Гетти к больному отцу. Он с важностью подозвал кельнершу и расплатился. Оба поднялись и пошли к выходу.

По дороге они задержались на минуту у столика Алана. Алан был славный юноша, немного, быть может, необузданный и ленивый, но безобидный и веселый. Он играл в футбольной команде, числился в территориальных войсках и был так близко знаком с несколькими кельнершами бара, что называл их по именам. Увидев Артура и сестру, он, смеясь и поддразнивая их, стал шутить по поводу того, что Артур бывает здесь с Гетти. Обычно Артур мучительно смущался в таких случаях, сегодня же он отражал все насмешки Алана. Он еще больше воспрянул духом. Он ощущал в себе силу, смелость, он был счастлив и знал, что никогда больше не будет терзаться из-за таких мелочей, как его манера легко краснеть, приступы апатии и уныния, неуверенность в себе, зависть. Парвис, «стрелявший» глазами в Гетти, ставший «отбить» ее у него, казался ему теперь только глупым, ничтожным клерком, на которого решительно не стоит обращать внимания. Отпустив на прощание острогу, встреченную громовым хохотом всей компании за столом, он закурил папиросу и галантно повел Гетти к выходу.

Они направились на Центральный вокзал. Артур плавал в блаженстве, испытывая новое для него чувство довольства собой, как актер, блестяще сыгравший главную роль в пьесе. Да,

он хорошо держал себя. Он понимал, что Гетти хочется видеть его таким: не глупо робеющим заикой, а самоуверенным и смелым.

Они пришли на вокзал и вышли на платформу рановато: поезд еще не подавали, и Барраса не было. Гетти вдруг остановилась.

– Да, кстати, Артур! – воскликнула она. – Я хотела тебя спросить... Зачем твой отец приезжал сегодня к моему?

Артур тоже остановился, глядя ей в лицо. Он совсем растерялся от неожиданности этого вопроса.

– Это, право, странно, – продолжала Гетти, усмехаясь. – Папа терпеть не может, чтобы кто-нибудь приходил к нему, когда он киснет, а тут он сегодня утром три раза телефонировал в Слискейл. В чем дело, Артур?

– Не знаю, – промямлил Артур, все не сводя с нее глаз. – По правде сказать, меня самого это удивило. – Помолчав, он прибавил: – Я спрошу у отца.

Гетти со смехом сжала его руку:

– Да нет, не надо, глупый. Не делай такого серьезного лица. Не все ли равно, в конце концов?

XVII

В тот день в половине пятого Дэвид вышел из школы на Бетель-стрит и пересек залитую бетоном площадку для игр, направляясь к выходу на улицу. Школа, которую называли «новой» в отличие от старой, теперь закрытой, помещалась в красном кирпичном здании на высоко расположенном пустыре, на самом верху Бетель-стрит. Полгода тому назад открытие новой школы вызвало перемещение преподавателей во всей округе, и при этом освободилась одна вакансия младшего учителя. Это-то место и получил Дэвид.

Школа на Бетель-стрит была некрасива. Она состояла из двух совершенно отдельных половин. На фронтоне одной из них на сером камне было вырезано слово «Мальчики». Над другой такими же большими буквами – «Девочки». Для каждого пола был отдельный вход под аркой, и эти подъезды были разгорожены острым частоколом угрожающего вида. На внутреннюю отделку школы пошло очень много белого кафеля, и коридоры пропахли запахом дезинфекции. В общем, школа несколько напоминала большую общественную уборную.

Темная фигура Дэвида быстро мелькала на фоне пасмурного неба, по которому ветер гнал тучи. Он шел так поспешно, как будто ему поскорее хотелось уйти из школы. Ветер был холодный, а у Дэвида не было пальто. Он поднял воротник куртки и почти бегом помчался по улице. Но вдруг чуть не засмеялся над собственной стремительностью: он все еще не привык к мысли, что он женатый человек и учитель школы на Бетель-стрит. Пора, как говорит Стротер, соблюдать приличия...

Он был женат уже полгода и жил с Дженни в маленьком домике за дюнами. Найти дом, «подходящий» дом, как говорила Дженни, оказалось страшно ответственным делом. Конечно, Террасы исключались: Дженни ни за что на свете не согласилась бы перебраться в поселок шахтеров, а Дэвид счел благоразумным пока жить как можно дальше от родителей: их недовольство его женитьбой очень осложняло отношения.

Искали повсюду. Снять комнаты, меблированные или без мебели, Дженни не хотела. Наконец они набрали на отдельный домик в переулке, за Лам-стрит. Домик этот принадлежал жене Скорбящего, которая владела кое-каким недвижимым имуществом, купленным на ее имя в Слискейле, и сдала им домик за десять шиллингов в неделю, так как он пустовал уже полгода и в нем завелась сырость. Даже и эта недорогая плата была не по средствам Дэвиду при жалованье в семьдесят фунтов в год. Но он не хотел разочаровывать Дженни, которой домик сразу очень понравился тем, что стоял «нешаблонно», не в ряду других, как на Террасах, а в стороне, и перед ним был разбит палисадник. Дженни утверждала, что этот садик создаст им как бы аристократическое уединение, и намекала на чудеса, которые она в нем разведет.

Не хотелось Дэвиду урезывать Дженни и в расходах на обстановку нового дома: она была так весела и неутомима, так полна решимости достать «настоящие вещи», она готова была обегать десять магазинов, не сдаваясь. Как же устоять перед таким энтузиазмом, как решиться охладить такой хозяйственный пыл? Но в конце концов он был все же вынужден остановить Дженни, и они пошли на компромисс. Обставили купленной в кредит мебелью только три комнаты – кухню, гостиную, спальню, – последнюю прекрасным гарнитуром орехового дерева, гордостью Дженни. Убранство дополняли разные ситцы, кисейные занавески и целый ассортимент кружевных салфеточек.

Дэвид был счастлив, очень счастлив в домике за дюнами, последние полгода были, несомненно, счастливейшим временем его жизни. А им предшествовал медовый месяц. Никогда не забыть ему первую неделю... семь блаженных дней в Каллеркотсе. Сперва он не считал возможным и думать о каком-то свадебном путешествии. Но Дженни, неумолимая во всех случаях, когда речь шла о романтических традициях, упрямо настаивала на своем. Неожиданно для Дэвида у нее оказался целый капитал – пятнадцать фунтов, скопленных за шесть лет в бе-

регательной кассе у Слэттери, – и она, взяв эти деньги оттуда, решительно вручила их Дэвиду. Кроме того, несмотря на все его протесты, она уговорила его купить себе из этих денег новый костюм на смену потрепанному серому, который он носил. Она сумела сделать так, что Дэвид не нашел в ее предложении ничего унижительного для себя. В мелочности Дженни нельзя было упрекнуть: когда нужно было потратить деньги, она не задумывалась ни на минуту. И Дэвид купил себе новый костюм. Да и медовый месяц они прожили на деньги Дженни. Никогда в жизни он этого не забудет!

Свадьба прошла неудачно (впрочем, Дэвид ожидал еще худшего): расхолаживающая церемония венчания в церкви на Пламмер-стрит, во время которого Дженни держала себя с ненатуральной чопорностью, потом завтрак на Скоттсвуд-роуд, ледяная официальность между двумя враждующими сторонами – Сэнли и Фенвиками. Но неделя в Каллеркотсе заслонила все неприятные воспоминания. Дженни была удивительно нежна к мужу, проявляла пылкость совсем неожиданную, но тем не менее восхитительную. Дэвид ожидал встретить девичью робость... Глубина ее страсти поразила его... Она его любит, любит по-настоящему.

Он, конечно, обнаружил, что с ней еще до свадьбы случилось несчастье. От очевидности неумолимого физиологического факта уйти было нельзя. Рыдая в его объятиях в ту первую, горькую и сладостную, ночь, она поведала ему все, несмотря на то что Дэвид не хотел ничего слушать и в тоске молил ее перестать. Она непременно хотела все *объяснить* и, плача, рассказала, что это случилось, когда она была еще совсем, совсем девчонкой. Один преуспевающий коммивояжер шляпного отдела, грубая скотина, настоящий человек-зверь, изнасиловал ее. Он был пьян, кроме того, ему было сорок лет, а ей шестнадцать. Лысый – она помнит это, – с родинкой на подбородке... звали его Гаррис... да, Гаррис. Она честно боролась с ним, сопротивлялась, но это не помогло. Она была в таком ужасе, что побоялась рассказать матери... Это случилось только один-единственный раз, и никогда в жизни, *никогда* больше никто не касался ее.

Слезы стояли в глазах Дэвида, обнимавшего ее: в его любовь влилось теперь и сострадание к Дженни, его страсть пышно возшла на дрожжах возвышенного чувства жалости. Бедняжка Дженни, бедная, любимая девочка!

По окончании медового месяца они уехали прямо в Слискейл, и Дэвид сразу же начал работать в новой школе на Бетель-стрит. Здесь, увы, ему не повезло.

В школе он чувствовал себя плохо. Он и раньше знал, что быть педагогом – не его призвание, для этого он слишком несдержан, слишком нетерпелив. Он мечтал переделать мир. И, превратившись в наставника нормального 3 «а» класса, переполненного мальчиками и девочками не старше девяти лет, неряшливыми, перемазанными в чернилах, сознавал всю иронию такого начала. Его приводила в неистовство трещащая по всем швам система преподавания, регулируемая звонками, свистками и палкой, он ненавидел «Торжественный марш», который барабанила на рояле мисс Миммс, учительница в соседнем 3 «в» классе, и ее кислое: «Итак, дети!..», чуть не пятьдесят раз в день доносившееся из-за тонкой перегородки. Как и в то время, когда он был репетитором младших школьников, он жаждал изменить всю учебную программу, выбросить те идиотские, никому не нужные вещи, которым придавали такое значение приезжавшие в школу инспектора, не мучить детей битвой при Гастингсе, широтой и долготой Капштадта, зубрежкой наизусть названий городов и дат, заменить скучную хрестоматию сказками Ганса Андерсена, расшевелить детей, разжечь едва теплившийся в них интерес к учению, дать работу не столько их памяти, сколько уму. Но, конечно, все его попытки, все предложения встречали самый холодный прием. Не было такого часа, когда он не ощущал бы, что чужд всему окружающему. То же самое было и в учительской: он чувствовал себя здесь чужаком, коллеги относились к нему холодно, старая дева Миммс просто замораживала его. Он не мог не видеть и того, что Стротер, директор школы, терпеть его не может. Это был усердный чиновник, окончивший университет в Дерхэме со степенью магистра словесности, нудный и суетливый педант.

Густые черные усы и неизменная черная пара придавали ему начальственный вид. Он был раньше помощником заведующего в старой школе и знал все о Дэвиде, о его происхождении и семье. Он презирал Дэвида за то, что тот когда-то работал в шахте, что он не имел степени бакалавра. К тому же его злило, что Дэвида ему навязали против воли, и он обращался с ним сурово, пренебрежительно, старался, где мог, причинить неприятность. Если бы заведующим был мистер Кэрмайкл, все сложилось бы иначе. Но Кэрмайкл, также домогавшийся этой должности, потерпел неудачу. Он не имел нужных для этого связей. Возмущенный, он занял место учителя в сельской школе в Уоллингтоне. Дэвид получил от него длинное письмо, в котором он просил поскорее навестить его и проводить у него иногда свободные дни – субботу и воскресенье. В письме чувствовался пессимизм человека, впавшего в полное уныние. Дэвид же пока не унывал. Он был молод, полон воодушевления и решимости пробить себе дорогу. И, шагая по Лам-стрит, подгоняемый резким ветром, он мысленно давал себе клятву избавиться от школы на Бетель-стрит, от этого ничтожества Стротера и добиться чего-нибудь получше. Случай должен представиться рано или поздно, и он ни за что его не упустит.

Уже пройдя половину Лам-стрит, он заметил человека, шагавшего по той же стороне улицы. Это был Ремедж, Джеймс Ремедж, владелец мясной лавки, вице-председатель попечительского совета их школы, кандидат в мэры Слискейла. Дэвид хотел было вежливо поклониться, но передумал. Впрочем, Ремедж прошел мимо, словно не узнавая его: он безучастно остановил на нем свой хмурый взгляд, как будто глядя сквозь него.

Дэвид покраснел, крепко сжал губы. «Вот мой враг», – подумал он. После мучительного дня этот последний щелчок задел его довольно глубоко. Но, входя в свой дом, он старался изгнать все из памяти и, не успев закрыть дверь, весело позвал:

– Дженни!

Дженни появилась в сногшибательной розовой шелковой блузке, в которой он ее еще ни разу не видел; волосы ее были недавно вымыты и уложены в изящную прическу.

– Дженни! Ей-богу, ты похожа на королеву!

Она уклонила от объятий и сказала, рисуясь, с милым кокетством:

– Не вздумайте измять мою новую блузку, мистер муж!

В последнее время она любила так его называть. Дэвида это ужасно коробило, он всегда останавливал ее. Всегда, но не сегодня... сегодня она может повторять это, пока самой не надоест. Обхватив рукой ее стройную талию, он повел ее на кухню, где в открытую дверь виднелся такой заманчивый огонь. Но Дженни запротестовала:

– Нет, Дэвид, не сюда. Я не хочу сидеть на кухне.

– Полно, Дженни, я привык сидеть на кухне. И здесь так уютно и тепло.

– Нет, не позволю этого, мистер муж! Ты помнишь наш уговор: не опускаться. Мы будем пользоваться гостиной. Сидеть на кухне – самая простонародная привычка.

Она прошла вперед в гостиную, где в камине тлел зеленый огонь, ничего хорошего не обещавший.

– Ты посиди тут, а я принесу чайник.

– Ну, Дженни... Какого черта...

Она утихомирила его ласковым жестом и выбежала из комнаты. Через пять минут она принесла все, что нужно для чаепития: сперва поднос, потом высокую никелированную сахарницу (недавнее приобретение), «задешевое» купленную ввиду ожидаемых визитов, и, наконец, две японские бумажные салфеточки.

– Не ворчи, мистер муж! – остановила она протест пораженного Дэвида, раньше чем он успел что-нибудь сказать. Она налила ему чашку не особенно горячего чая, любезно подала салфетку, пододвинула сахарницу с печеньем. Она была похожа на девочку, играющую с кукольным сервизом. Дэвид наконец не выдержал.

– Господи боже мой! – воскликнул он с шутливым отчаянием. – Что все это значит, Дженни, скажи на милость? Я голоден, черт возьми! Я хочу хорошего горячего чаю и яиц, или копченой рыбы, или парочку пирожков Сюзен «Готовься предстать перед Господом».

– Во-первых, не ругайся, Дэвид. Ты знаешь, что я к этому не привыкла, не так я воспитана. И не злись! Подожди и выслушай. Пить из чашек так красиво! А ко мне скоро начнут приходить гости. Нужно же нам подготовиться. Попробуй эти анисовые лепешки, я их купила у Мэрчисона.

Он с усилием подавил свое возмущение и молча удовлетворился «красотой» чаепития из чашечки, сырыми лепешками от Мэрчисона и плохо выпеченным хлебом из лавки, намазанным вареньем, тоже покупным.

На какую-нибудь долю секунды он невольно подумал об ужине, который, бывало, ставила перед ним мать, когда он приходил из шахты, где зарабатывал вдвое меньше, чем теперь: домашняя булка с хрустящей корочкой, от которой можно было отрезать, сколько хотелось, целый горшок масла, сыр и черничное варенье домашнего приготовления. Ни покупного варенья, ни покупного печенья в доме Марты никогда не бывало. Но это мимолетное видение было вероломством по отношению к Дженни. И Дэвиду стало совестно. Он нежно улыбнулся жене:

– Употребляя твое собственное неподражаемое выражение, ты «девочка первый сорт», Дженни.

– О, в самом деле? Правда? Я вижу, ты исправляешься, мистер муж. Ну, рассказывай, что сегодня было в школе?

– Да ничего особенного, дорогая.

– Всегда один и тот же ответ!

– Ну, если хочешь...

– Да?

– Нет, ничего, дорогая.

Он медленно набивал трубку. Как рассказать ей скучную историю борьбы и неудач? Другим он, может быть, и рассказал бы, но Дженни... Ведь Дженни ожидала рассказа о блестящих успехах, о лестных похвалах заведующего, о каком-нибудь поразительном маневре, благодаря которому Дэвид сразу выдвинется. Ему не хотелось ее огорчать. А лгать он не умел...

Последовало короткое молчание. Затем Дженни беспечно перешла к другой опасной теме:

– Скажи, как ты решил насчет Артура Барраса?

– Мне совсем не хочется браться за это дело...

– Да что ты! Ведь это такая удача, – возразила Дженни. – Подумать только, что сам мистер Баррас тебя приглашает!

Дэвид сказал отрывисто:

– Я и так уже слишком много имел дела с Баррасом. Не люблю его. Я отчасти жалею, что тогда написал ему. Мне тяжело думать, что я ему обязан получением места.

– Глупости, Дэвид! Баррас такой влиятельный человек. По-моему, великолепно, что он тобой интересуется и пригласил тебя в репетитора к своему сыну.

– А я думаю, что тут вовсе не интерес ко мне... У меня нет времени для таких людей, как он. С его стороны это попросту желание доказать, что он благодетель.

– А кому же он должен это доказывать?

– Себе самому, – отрезал Дэвид сердито.

Дженни решительно не понимала, что он хотел этим сказать. Дело было в том, что Баррас, встретив Дэвида в прошлую субботу на Каупен-стрит, остановил его и с покровительственным видом, с холодным любопытством стал расспрашивать, а затем предложил ему три раза в неделю, по вечерам, заниматься с Артуром по математике. Артур в математике был слаб и нуждался в репетиторе, чтобы подготовиться к экзаменам для получения аттестата зрелости.

Дженни тряхнула головой:

– Мне думается, ты сам не понимаешь, что говоришь.

С минуту казалось, что она собирается добавить еще что-то. Но она не сказала ничего и, сердито, рывком собрав посуду, унесла ее из комнаты.

Тишина наступила в маленькой комнате с новой мебелью и камином, в котором горели сырые дрова. Через некоторое время Дэвид встал, разложил на столе книги, помешал кочергой в камине. Он заставил себя выбросить из головы вопрос о Баррасе и сел за работу.

Он не выполнял намеченной себе программы, и это его расстраивало. Никак не удавалось заниматься столько, сколько он рассчитывал. Преподавание оказалось делом трудным, гораздо труднее, чем он воображал. Он часто приходил домой сильно утомленный. Вот и сегодня тоже. И как-то неожиданно то одно, то другое отвлекало от занятий. Он стиснул зубы, подпер голову обеими руками и сосредоточил все внимание на учебнике. Он должен, должен работать ради проклятой степени бакалавра! Это единственный способ обеспечить Дженни и себя.

С полчаса работалось отлично, никто не мешал. Затем тихонько вошла Дженни и уселась на ручке его кресла. Она раскаивалась в своей давешней раздражительности и вкрадчиво приласкалась к нему, как игривый котенок.

– Дэвид, милый, – она обняла рукой его плечи, – мне совестно, что я такая злющая, право, совестно! Но мне было так скучно целый день, и я так ждала вечера, так ждала!

Он улыбнулся и приложился щекой к ее круглой маленькой груди, по-прежнему упорно не отрывая глаз от книги:

– Ты вовсе не злющая, и я верю, что тебе было скучно.

Она заискивающе погладила его по затылку:

– Да, правда, мне было очень скучно, Дэвид. Я за весь день не разговаривала ни с одной живой душой, кроме старого Мэрчисона и женщины в магазине, где я приценивалась к шелку... ну и двух-трех человек, проходивших мимо дома. Я... я надеялась, что мы с тобой сходим куда-нибудь сегодня вечером и повеселимся.

– Но мне нужно заниматься, Дженни. Ты это понимаешь не хуже меня. – Дэвид по-прежнему не поднимал глаз от книги.

– О!.. Ты же не обязан вечно сидеть, уткнув нос в эти дурацкие книги, Дэвид. Сегодня можно сделать передышку... поработаешь в другой раз.

– Нет, Дженни! Честное слово, нельзя. Ты знаешь, как это важно.

– Нет, ты мог бы, если бы захотел.

Пораженный, недоумевающий, он поднял наконец глаза и с минуту всматривался в лицо Дженни:

– Да куда тебе вздумалось идти, скажи ради бога? На улице холодно и моросит дождь. Самое приятное – сидеть дома.

Но у Дженни ответ был наготове, все заранее обдумано. Она стремительно принялась излагать свой план:

– Мы можем поехать в Тайнкасл поездом в шесть десять. Сегодня в Эддон-холле общедоступный концерт, это очень интересно. Я в газете прочла, что там будут сегодня некоторые артисты из Уитли-Бэй. Они всегда зимой гастролируют. Будет, например, Колин Лавдей, у него такой приятный тенор. Билет стоит всего один шиллинг три пенса, так что о расходе говорить не приходится. Поедем, Дэвид, ну пожалуйста! Мы славно повеселимся. У меня такое скверное настроение, мне необходимо немножко встряхнуться. Не будь же таким тюленем.

Наступило недолгое молчание. Дэвиду не хотелось, чтобы его считали «тюленем», но он был утомлен, сознавал, что необходимо работать. Вечер, как он сказал Дженни, был сырой и неприветливый, а концерт его не соблазнял. Вдруг его осенила мысль, замечательная мысль. Глаза его заблестели:

– Послушай-ка, Дженни! А что, если мы сделаем так: книги я на сегодня отложу, раз ты советуешь, сбегая и приведу Сэма и Гюи. Мы подкинем еще дров в камин, сочиним горячий ужин и будем веселиться вовсю. Ты толковала об артистах, но они и в подметки не годятся нашему Сэмми. Ничего подобного ты никогда не слыхала, он тебя все время будет смешить до колик.

Да, честное слово, блестящая идея! Дэвида мучило отчуждение, возникшее между ним и его родными, хотелось прежней близости с братьями, – и вот представлялся отличный случай. Его лицо просияло, но лицо Дженни омрачилось.

– Нет, – сказала она холодно. – Мне это совсем не нравится. Твои родные скверно отнеслись ко мне, а я не из тех, кто позволяет плевать себе в лицо.

Новая пауза, Дэвид крепко сжал губы. Он понимал, что Дженни не права и ее рассуждения нелепы. Нехорошо с ее стороны в такой вечер заставлять его ехать в Тайнкасл. Он не поедет. Но вдруг он увидел, что ее глаза наполняются слезами. Это решило вопрос. Не мог же он доводить ее до слез.

Он со вздохом встал и захлопнул книгу:

– Ну хорошо, Дженни, поедем на концерт, раз тебе так хочется.

Дженни слегка вскрикнула от удовольствия, захлопала в ладоши, радостно поцеловала его:

– Какой ты милый, Дэвид! Право, милый! Теперь подожди минутку, я сбегая наверх за шляпой. Я скоро, у нас еще много времени до отхода поезда.

Пока она наверху надевала шляпку, Дэвид прошел на кухню и отрезал себе хлеба и сыру. Ел медленно, уставившись на огонь. Он подумал с кривой усмешкой, что Дженни, вероятно, уже давно замыслила потащить его на этот концерт.

Только что он доел хлеб, как послышался стук в дверь с черного хода. Удивленный, он пошел отпирать.

– А, Сэмми! – воскликнул он радостно. – Ах ты, старый шалопай!

Сэмми с задорной усмешкой, никогда не покидавшей его бледного, но дышавшего здоровьем лица, вошел в кухню.

– Мы с Энни шли мимо, – объяснил он с некоторым смущением, продолжая улыбаться. – И я решил заглянуть к тебе.

– Молодчина, Сэмми. Но где же Энни?

Сэм движением головы указал в темноту за дверью. Этикет был строго соблюден: Энни ждала его на улице. Энни знала свое место. Она не была уверена, что она здесь желанный гость. Дэвид так и видел перед собой Энни Мэйсер, которая с ясным спокойствием прохаживается перед домом в ожидании, когда ее сочтут достойной приглашения. Он крикнул торопливо:

– Позови ее сюда сейчас же, идиот ты этакий! Скорее! Приведи ее сию же минуту!

Улыбка Сэмми стала шире.

В это время появилась Дженни, совсем одетая к выходу. Сэмми в нерешительности остановился на пути к дверям, глядя на нее. Дженни подошла к нему с самой светской любезностью.

– Какой приятный сюрприз, – сказала она, вежливо улыбаясь. – Вы ведь у нас редкий гость. Ужасно неудобно, что мы с Дэвидом как раз собрались уходить.

– Но Сэмми пришел к нам в гости, Дженни, – вмешался Дэвид. – И с ним Энни. Она на улице.

Дженни подняла брови, выдержала надлежащую паузу, приветливо улыбаясь Сэму:

– Ах, какая жалость! Как досадно, право. Надо же было вам попасть к нам как раз тогда, когда мы уходим на концерт. Мы условились встретиться со знакомыми в Тайнкасле и никак не можем их обидеть. Надеюсь, вы заглянете к нам в другой раз?..

Улыбка упорно не сходила с лица Сэма:

– Ничего, ничего. Мы с Энни не особенно занятые люди. Можем прийти в другой раз.

– Никуда ты не уйдешь, Сэмми, – вскипел Дэвид. – Зови сюда Энни. И оба вы посидите у нас и напьетесь чаю.

Дженни устремила на часы взгляд, полный отчаяния.

– Нет, нет, брат. – Сэмми уже двинулся к двери. – Ни за что на свете я не хочу мешать тебе и миссис. Мы с Энни погуляем по проспекту, вот и все. Покойной ночи вам обоим!

Улыбка Сэма продержалась до конца. Но Дэвид, не обманываясь этим, видел, что Сэмми глубоко обижен. Теперь он, конечно, выйдет к Энни и буркнет:

– Пойдем, девочка, мы неподходящая компания для таких, как они. С той поры, как наш Дэвид стал учителем, он, кажется, уж больно много о себе воображает.

Дэвид стоял и мигал глазами, в нем боролись желание догнать Сэма и мысль, что он обещал Дженни повести ее на концерт. Но Сэмми уже ушел.

Дженни и Дэвид поспели на тайнкаслский поезд, который был битком набит, шел медленно и останавливался на каждой станции. Приехав, отправились в Элдон-холл. За билеты пришлось уплатить по два шиллинга, так как все дешевые места уже были раскуплены.

Они три часа просидели в зрительном зале. Дженни была в восторге, хлопала и кричала «бис», как и все остальные. Дэвиду же все казалось отвратительным, хотя он изо всех сил уговаривал себя, что ему концерт нравится. Исполнители были бездарные. «О, это артисты первого сорта», – непрерывно шептала ему с энтузиазмом Дженни. Но они были не первого, а четвертого сорта, остатки каких-то ярмарочных трупп: комик, выезжавший главным образом на островах относительно своей тещи, и Колин Лавдей, пленявший богатыми вибрациями в голосе и рукой, чувствительно прижатой к сердцу.

Дэвиду вспомнилось выступление маленькой Салли в гостинной на Скоттсвуд-роуд, бесконечно более талантливое. Он подумал о книгах, ожидавших его дома, о Сэмми и Энни Мэйсер, которые брели рука об руку по проспекту...

Когда они по окончании концерта выходили из зала, Дженни прижалась к нему:

– У нас есть еще целый час до последнего поезда, Дэвид. Нам лучше всего ехать последним, он идет так быстро – до Слискейла без остановок. Давай зайдем выпить чего-нибудь к Перси. Джо всегда водил меня туда. Возьмем только портвейну или чего-нибудь в таком роде... не ждать же нам на вокзале.

В ресторане Перси они выпили портвейну. Дженни доставило большое удовольствие побывать здесь опять, она узнавала знакомые лица, болтала с лакеем, которого, вспомнив шутку красноногого комика, называла Чольс.

– Он уморительный, правда? – говорила она, посмеиваясь.

От выпитого портвейна все представилось Дэвиду в несколько ином виде, в смягченных очертаниях, в более розовом свете. Он через стол улыбался Дженни.

– Ах ты, легкомысленный чертенок, – сказал он, – какую власть ты имеешь над бедным человеком! Придется, видно, все-таки согласиться обучать молодого Барраса.

– Вот это правильно, милый! – сразу же горячо одобрила Дженни. Она ласкала его глазами, прижималась к нему под столом коленом и, осмелев, весело приказала Чольсу подать ей еще порцию портвейна.

Потом им пришлось бегом мчаться на вокзал. Скорее, скорее, чтобы не опоздать! Они уже почти на ходу вскочили в пустой вагон для курящих.

– О боже! О боже! – хохотала Дженни, совсем запыхавшись. – Вот умора! Правда, Дэвид, миленький? – Она помолчала, отдышалась. Заметив, что они одни в вагоне, вспомнила, что поезд до самого Слискейла нигде не останавливается, а значит, еще по меньшей мере полчаса впереди... и что-то екнуло у нее внутри. Она всегда любила выбирать необычные места... уже и тогда, когда у нее был роман с Джо. И она вдруг прильнула к Дэвиду:

– Ты так добр ко мне, Дэвид, как мне тебя благодарить... Опустит шторы, Дэвид... станет уютнее.

Дэвид посмотрел пристально и как-то неуверенно на лежавшую в его объятиях Дженни. Глаза ее сомкнулись и под веками казались выпуклыми, бледные губы были влажны и приоткрыты в слабой улыбке, дыхание сильно благоухало портвейном; тело у нее было мягкое и горячее.

– Да ну же, скорее, – бормотала она. – Опустит шторы. Все шторы.

– Дженни, не надо... погоди, Дженни...

В поезде немного трясло, покачивало вверх и вниз. Дэвид встал и опустил все шторы.

– Теперь чудесно, Дэвид.

.....

Потом она лежала подле него; она уснула и тихо похрапывала во сне. А Дэвид смотрел в одну точку со странным выражением на застывшем лице. В вагоне застарелый запах табака смешивался с запахом портвейна и паровозного дыма. На полу – брошенные кем-то апельсиновые корки. За окнами чернел густой мрак. Ветер выл и барабанил в стекла крупными каплями дождя. Поезд с грохотом несся вперед.

XVIII

В начале апреля Дэвид, вот уже почти три месяца дававший уроки Артуру Баррасу, получил записку от отца. Записку эту принес однажды утром в школу на Бетель-стрит Гарри Кинч, мальчуган с Террас, брат той самой маленькой Элис, которая семь лет тому назад умерла от воспаления легких. «Дорогой Дэвид, не хочешь ли в субботу поехать в Уонсбек удить. Твой папа», – было неуклюже нацарапано химическим карандашом на внутренней стороне старого конверта.

Дэвид был глубоко тронут. Значит, отец опять хочет взять его с собой удить на Уонсбек, как брал тогда, когда он был еще малышом! При этой мысли Дэвид почувствовал себя счастливым. Роберт не работал в шахте десять дней, заболев туберкулезным плевритом (сам он равнодушно уверял, что это «обыкновенное воспаление»), но уже поправился и начал выходить из дому. Суббота была его последним свободным днем, и он хотел провести его в обществе Дэвида. Эта записка была как бы предложением мира, шедшим из глубины отцовского сердца.

Дэвид стоял у доски в жужжавшем классе, а в памяти его быстро проносились последние месяцы. Он пошел в «Холм» против воли, отчасти по настоянию Дженни, а больше всего потому, что им нужны были деньги. Но это сильно огорчило его отца.

Разумеется, ему и самому представлялось невероятным, что он теперь коротко знаком с Баррасами, о которых он всегда думал как о людях, очень далеких от его собственной жизни. Вот, например, тетушка Кэрри. Она вначале присматривалась к нему с недоверчивым любопытством и беспокойством и склонна была отнестись к нему так же, как к людям, приходившим в комнаты в грязных сапогах, или к счету мясника Ремеджа, когда он, по ее мнению, брал с нее лишнее за филе. Довольно долго в ее близоруких глазах читалось тревожное недоверие.

Но мало-помалу тетушкины глаза утратили это выражение. В конце концов она стала положительно неравнодушна к Дэвиду и всякий раз к концу урока, часам к девяти, посылала в старую классную комнату горячее молоко и печенье.

Потом молоко в классную стала, к его удивлению, приносить Хильда. Вначале она смотрела на него даже не как на субъекта, который явился в дом в грязных сапогах, а просто как на грязь с этих самых сапог. Дэвид не обращал внимания на ее тон: он был достаточно сообразителен, чтобы увидеть в нем признак душевного разлада. Эта девушка интересовала его. Ей было уже двадцать четыре года. Неприветливость и мрачная некрасивость ее лица с годами стали еще заметнее. «Хильда, – говорил себе Дэвид, – не такова, как большинство некрасивых женщин. Те упорно себя обманывают, прихорашиваются, наряжаются, утешают себя перед зеркалом: „Голубое мне, несомненно, к лицу“, или: „У меня, право, очень красивый профиль“, или: „Ну разве не очаровательная у меня головка, если причесаться на прямой пробор?“ – и так тешатся иллюзиями до самой смерти. Хильда же сразу решила, что некрасива, и еще подчеркивает это своей угрюмостью». Помимо этого, Дэвид чувствовал, что Хильда переживает душевную борьбу: может быть, сильная воля, унаследованная от отца, боролась в ней с материнской пассивностью. Дэвиду всегда чудилось в Хильде такое насильственное сочетание этих двух черт характера. Казалось, зачатая против воли, она еще зародышем восставала против своей судьбы и родилась на свет в состоянии вопиющего внутреннего разлада. Хильда была несчастна. Она постепенно, не сознавая этого, выдавала свою тайну Дэвиду. Ей сильно недовольствовало Грэйс, которую отправили кончать школу в Хэррогейт. Несмотря на ее обычные замечания вроде: «Никогда ее ничему не научат, эту маленькую пустомелю» или (при чтении писем Грэйс): «Да она делает ошибки в самых простых словах!» – Дэвид угадал, что Хильда обожает Грэйс. Эта девушка представляла собой какую-то своеобразную разновидность феминистки, воюющей тайно, про себя. 12 марта все газеты были полны описания разгрома, учиненного суфражистками в Вест-Энде. На всех главных улицах были выбиты окна в домах, и сотни суф-

ражисток арестованы, в том числе и миссис Сильвия Панкхерст. Хильда вся горела от возбуждения. В этот вечер она была вне себя и затеяла горячий спор. Она говорила, что хочет быть участницей этого движения, что-то делать, ринуться в кипучий водоворот жизни, работать изо всех сил для освобождения женщин от губительного гнета. Сверкая глазами, она привела в пример женщин Армении и торговлю белыми рабынями. Она была великолепна в своем гневном презрении. Мужчины? Ну конечно, мужчин она ненавидит! Ненавидит и презирает. Она приводила доводы, – эту песню она знала наизусть. Это тоже был симптом внутреннего разлада, психоз некрасивой женщины.

Несмотря на то что Хильда никогда не говорила этого прямо, было ясно, что ее озлобление против мужчин коренилось в ее отношениях с отцом. Отец был *мужчина*, олицетворение мужского начала. Хладнокровие, с которым он подавлял все ее порывы и стремления, разжигало в ней злобу, заставляло ее еще глубже, еще острее ощущать гнет. Она хотела уйти из «Холма», из Слискейла, жить своим трудом, где угодно и чем угодно, только бы среди женщин. Она хотела делать что-нибудь. Но все эти исступленно-страстные желания разбивались о спокойное безразличие отца. Он смеялся над ней, он одним рассеянным словом заставлял ее чувствовать себя какой-то дурочкой. Она дала себе клятву, что уйдет из дому, будет бороться. Но никуда не уходила, а борьба шла лишь в ней самой. Хильда ждала... Чего?

Хильда внушала Дэвиду одно представление о Баррасе, Артур, разумеется, – другое. В «Холме» Дэвид никогда не встречался с Баррасом, и тот оставался для него далеким и недоступным. Но Артур много говорил об отце, для него не было большего удовольствия, как говорить об отце. Покончив с квадратными уравнениями, он начинал... Предлогом для этого служило что угодно. И в то время как в словах Хильды об отце сквозила ненависть, Артур говорил о нем с настоящим восторгом.

Дэвид очень полюбил Артура, но в его привязанности скрывалось то же чувство жалости, которое проснулось еще тогда, когда он впервые увидел Артура на заводском дворе, на высоком сиденье кабриолета. Артур был так серьезен, так трогательно серьезен, но так слаб и нерешителен. Даже выбирая карандаш для рисования, он долго колебался и раздумывал, какой взять – Н или НВ. Быстрое решение было для него настоящей радостью. Он все принимал близко к сердцу, был чрезмерно впечатлителен. Дэвид часто пытался шуткой победить застенчивость Артура, но все было напрасно: Артур не обладал ни малейшим чувством юмора.

Познакомился Дэвид и с матерью своего ученика. Как-то вечером тетушка Кэрри принесла горячее молоко в классную, всем своим видом давая понять Дэвиду, что ему на этот раз оказывается еще большая милость, чем обычно.

Она сказала с важностью:

– Моя сестра, миссис Баррас, хочет вас видеть.

Гарриэт приняла его лежа в постели. Она объяснила, что хочет поговорить об Артуре, то есть просто узнать мнение Дэвида о сыне. Артур очень ее тревожит, она чувствует, что на ней лежит большая ответственность.

– Да, большая ответственность, – повторила она и попросила Дэвида передать ей, если его это не затруднит, одеколон с ночного столика. – Он вот там, у самого вашего локтя. Одеколоном я немного успокаиваю головную боль, когда Кэролайн занята и не может расчесывать мне волосы... Да, – продолжала она, – для отца было бы таким разочарованием, если бы из Артура ничего не вышло.

Она выразила надежду, что мистер Фенвик, о котором Кэролайн так лестно отзывалась, постарается оказать доброе влияние на Артура, подготовит его к жизни. И тут же, без всякого перехода, осведомилась, верит ли Дэвид в лечение гипнозом. Ей недавно пришлось в голову, что надо бы попробовать на себе такой способ лечения, но затруднение в том, что для этого кровать должна быть обращена на север, а в ее комнате этому мешает расположение окна и газовой печки. Обойтись же без печки она, конечно, не может. Ни в коем случае! Так как

мистер Фенвик знаком с математикой, то пусть он скажет по совести, считает ли он, что гипноз подействует так же, если кровать обращена на северо-запад? Поставить ее таким образом будет не особенно трудно – нужно только передвинуть комод к другой стене.

Дженни была в восторге оттого, что Дэвид произвел в «Холме» такое хорошее впечатление и что он «подружился с Баррасами». У Дженни было такое тяготение к «высшему обществу», что ее радовала возможность приблизиться к нему хотя бы косвенным образом. По вечерам, когда Дэвид приходил домой, она заставляла его рассказывать все подробно: «Неужели она так именно и сказала?», «...А как там подают пудинг – ставят блюдо на стол или оставляют на подносе?». То, что Хильде, может быть, нравился Дэвид, ничуть не беспокоило Дженни. Она не ревновала и была крепко уверена в Дэвиде. «К тому же эта Хильда – настоящее пугало». Дэвида забавлял жадный интерес Дженни к «Холму», и он часто, поддразнивая ее, выдумывал самые замысловатые происшествия. Но Дженни провести было не так-то легко. У нее, по ее собственному выражению, была голова на плечах. Дженни оставалась Дженни.

Дэвид понемногу узнавал ее ближе. Его часто поражала мысль, что только теперь он начинает узнавать собственную жену. Впрочем, не так уж странно, что до свадьбы он не знал ее. Он смотрел тогда на Дженни сквозь призму своей любви, она была для него цветком, сладкой прелестью весны, ее дыханием. Теперь он начинал узнавать настоящую Дженни – Дженни, которая жаждала «общества», нарядов, развлечений, любила рестораны и была не прочь выпить стаканчик портвейна, была чувствительна, но охотно возмущалась «неприличием», шутя мирилась с серьезными неприятностями и плакала из-за пустяков, которая требовала любви, и сочувствия, и ласк, имела привычку тупо противоречить, не приводя никаких доводов; Дженни, в которой логика сочеталась с диким безрассудством. Дэвид все еще любил ее и знал, что никогда любить не перестанет. Но теперь они часто ссорились. Дженни была упряма, и он тоже. И в некоторых случаях никак нельзя было позволить Дженни поступать так, как ей хотелось. Он не мог, например, позволить ей пить портвейн. В тот вечер в ресторане Перси, когда она заказывала себе одну порцию задругой, он почувствовал, что Дженни слишком пристрастилась к этому напитку. Нельзя допускать, чтобы она держала его в доме. Из-за этого они воевали: «Ты рад отравить другому удовольствие... Тебе бы вступить в Армию спасения... я тебя ненавижу... Ненавижу, слышишь?» Потом – бурные слезы, трогательное примирение и нежность: «О, я тебя люблю, Дэвид, люблю, люблю».

Ссорились они и из-за экзаменов Дэвида. Дженни, разумеется, желала, чтобы он получил степень бакалавра, ей «до смерти» хотелось этого – «назло» миссис Стротер и некоторым другим, – но она попросту не оставляла Дэвиду времени для занятий. По вечерам всегда оказывалось нужным пойти куда-нибудь, а если они сидели одни дома, то начинались патетические заявления: «Посади меня к себе на колени, Дэвид, миленький, мне кажется, ты уже целую вечность меня не ласкал». Или, слегка порезав палец ножом, которым чистила картофель, она уверяла, что «потеряла такую массу крови» («и когда уж мы сможем наконец держать прислугу, как ты думаешь, Дэвид?»), и никому, кроме Дэвида, не позволяла делать перевязку. В такие моменты степень бакалавра отходила на второй план. Целых полгода Дэвид все откладывал экзамены, а теперь, когда прибавились еще уроки в «Холме», надо было думать, что пропадет опять полгода. Он стал предпринимать поездки на велосипеде за пятнадцать миль в Уоллингтон, деревню, где поселился Кэрмайл. Там он находил успокоение и разумные советы: на что надо приналежать, что можно пока отложить. Кэрмайл хорошо относился к нему, был по-настоящему добр. Дэвид часто проводил у него свободный конец недели – субботу и воскресенье.

Наконец, третьей постоянной причиной ссор между ним и Дженни были его родные. Дэвида ужасно огорчало вызванное его женитьбой отчуждение между ним и семьей. Конечно, между Инкерманской террасой и домиком на Лам-стрит поддерживались некоторые отношения, но это было не то, чего хотелось Дэвиду. Дженни во время визитов держала себя чопорно, Марта – холодно, Роберт молчал, Сэм и Гюи чувствовали себя неловко. И странное дело: когда

Дэвид видел, как надменно-покровительственно обращалась Дженни с его родными, он готов был ее поколотить, но с той минуты, как они уходили, он чувствовал, что любит ее по-прежнему. Он понимал, что их брак был ударом для Марты и Роберта. Марта, конечно, встретила этот удар с чем-то вроде горького удовлетворения: она, мол, всегда знала, что уход Дэвида из шахты принесет им одно горе, и вот теперь эта глупая ранняя женитьба показала, что она права.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.